

Марк
УРАЛЬСКИЙ

МАРК АЛДАНОВ

ПИСАТЕЛЬ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ
И ДЖЕНТЛЬМЕН
РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ

А Л Е Т Е Й Я

Марк Уральский

**Марк Алданов. Писатель,
общественный деятель и
джентльмен русской эмиграции**

«Алетейя»

Уральский М. Л.

Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции / М. Л. Уральский — «Алетейя»,

ISBN 978-5-907189-19-5

Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа XX века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

ISBN 978-5-907189-19-5

© Уральский М. Л.

© Алетейя

Содержание

Марк Алданов	5
Марк Алданов – исторический романист XX века	6
Марк Алданов – «русский европеец», историософ и идеолог российского европоцентризма	12
Часть I: Молодой Алданов – счастливые годы (1886–1917 гг.)	19
Глава 1. «Кіевъ-градъ» (1886–1910 гг.)	20
Глава 2. Химик, подававший надежды (1910–1917 гг.)	51
Глава 3. На литературной стезе: Горький и Мережковский; «Толстой и Роллан» (1910–1917 гг.)	59
Глава 4. Русская революция; «Армагеддон» (1917–1918 гг.)	95
Глава 5. Одесса: начало русского рассеяния (1919 г.)	132
Конец ознакомительного фрагмента.	142

М. Л. Уральский

Марк Алданов: писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции

Марк Алданов

Писатель, мыслитель и джентльмен русской эмиграции

...моим правилом было всегда стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира и вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находятся только наши мысли и что после того, как мы сделали все возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует рассматривать как нечто абсолютно невозможное.

Рене Декарт

...как же я мыслю конец Кремлевского коммунизма? <...> я всякой революции совсем не поклонник, ни прежде, ни теперь. Она моей природе отвратна <...>. Тогда на что же такие люди, как я, могут надеяться? В душе только на эволюцию советского режима, под влиянием необходимости, угроз и революцией, и войной, но только угроз ими, а не осуществления этих угроз.

М. Алданов – В. Маклкову, 12 мая 1951 года.

В морали, как в искусстве, надо иметь чувство меры, надо знать, где кончается законная правда жизни и где начинается духовная порнография.

М. Алданов «Загадка Толстого»

Марк Алданов – исторический романист XX века

Классическая русская проза XIX в. начиналась с исторических романов, первым из которых является «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина, вышедший в 1829 году. По прошествии столетия русская историческая проза, представленная романами И. И. Лажечникова, К. П. Масальского, Р. М. Зотова, Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, П. Свиньина, А.К. Толстого, Г.П. Данилевского и др., становится одним из самых популярных жанров отечественной беллетристики. В истории мировой литературы Льва Толстого по праву можно считать создателем исторического романа нового типа – романа философии истории, в котором имеет место «перевод дискретного ряда философствования об истории на язык универсальных символов-мифологем» [ПОЛОНСКИЙ В. В.], коим оперирует художественная проза. По мнению историков литературы, к середине XX в. именно Марк Алданов в своей беллетристике кристаллизует тот предел – «абсолютный уровень», которого достиг русский историософский роман. По крайней мере, в русском Зарубежье на протяжении более 40 лет для всякого человека, кто так или иначе сверял свою судьбу с национальной историей, книги Алданова являлись значимым в духовном отношении событием.

Один из самых авторитетных литературных критиков эмиграции «первой волны» Марк Слоним в статье «Романы Алданова» (1925) писал, что обычно исторический роман развивается в двух направлениях: реалистическом, изображающем явления, и психологическом – «драмой глубоких движений ума и сердца». Алданов ко всем этому добавляет «“антикварную находку”, некий “раритет” и не раз на его страницах попадает упоминание о книге, о факте, о подробности быта, которое вызывает мысль о литературном коллекционерстве». И действительно, фактографическая точность принципиально важна для Алданова, как ни для какого другого исторического беллетриста. Например, в письме к другому известному литературно-общественному деятелю эмиграции – Марку Вишняку, касаясь предстоящей публикации своего романа «Заговор», он с огорчением говорит: «Вчера заметил в корректуре две очень неприятные опечатки. <...> у меня было сказано: вода текла “по волосам”, а набрали “по усам” (это при Павле усы!)».

Строя свои произведения на документальных источниках, Алданов скрупулезно следует фактам, стараясь не привносить в текст свои домыслы, а тем более недостоверную информацию. Отсюда вытекает столь трепетное его отношение к книгам, библиотекам и архивам. Так, например, он пишет Рудневу – редактору крупнейшего русского журнала «Современные записки» (Париж): «Дорогой Вадим Викторович, я в ужасе. Сегодня открылась <...> Национальная библиотека. Только что я оттуда вернулся – там тех книг, которые необходимы мне для статьи, нет! <...> И в Тургеневской и на рю Мишле их также нет. Я готов их выписать из СССР, но ведь это займет три недели. Без них начатая мною статья была бы совершенно неинтересна». Подобное стремление к исторической корректности не может не восхищать, особенно в нашу эпоху фэйков и постправды.

Однако Марк Алданов не был лишь только «антикваром» и «коллекционером» исторических раритетов. В первую очередь его книги заявляют особого рода концепцию истории, в которой определяющим фактором является СЛУЧАЙ – феномен неожиданности и непредсказуемости, проявляющийся всегда и повсюду и являющийся, по мнению автора, катализатором всех перемен. Даже Наполеон в алдановском романе «Святая Елена, маленький остров» приходит к этому выводу: «Чтобы развлечь себя и приближенных, Наполеон стал диктовать им историю своих походов. Но скоро понял, что другие ее напишут лучше и выгоднее для него: сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в неожиданных удачах». Сила случая, по убеждению Алданова, не зависит ни от культуры, ни от социального строя, ни от уровня технического прогресса, достигнутого в тот

или иной период обществом. Алданов писал о разных эпохах Нового и Новейшего времени – от конца XVIII до середины XX столетия. Но чем менее схожи костюмы, манеры поведения, окружающая обстановка и внешность персонажей в его повестях и романах, тем нагляднее выступает неизменность поведенческих мотивов, общность характеров и непредсказуемость судеб их главных героев и персонажей.

Основоположник русской историографии Н. М. Карамзин утверждал, что человек, читая о далеком прошлом, будет непременно соизмерять его с актуальной реальностью: история «мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости...».

Поколению русских изгнанников, потерявшему свою Родину, утешение такого рода было особенно необходимо. Размышление о катастрофах прошлого неизбежно приводило к мыслям о том, что совсем недавно произошло с ними самими, о собственном трагичном опыте. Но не только читателю хотелось на примере уроков из прошлого понять причины русской революции, сам писатель испытывал сходные чувства. Сеем предположить, что творчество Алданова было и своего рода переживанием травматического опыта и рефлексивной потребностью найти собственное объяснение случившейся в России исторической катастрофы.

Первый крупный историософский цикл Алданова – тетралогия «Мыслитель», начинается с Термидора, ознаменовавшего конец якобинской диктатуры, а с ней и наиболее кровавого периода Великой Французской революции, и заканчивается апофеозом роялистской контрреволюции – смертью Наполеона на острове Св. Елены в 1821 г.

Сюжетные коллизии романов тетралогии организуются благодаря точке зрения главного героя, некоего «свидетеля времени». Это вымышленная фигура: достаточно ординарная личность, молодой русский дворянин-офицер Юлий Штааль. Волей случая оказавшийся в Париже, он наблюдает казнь жирондистов, присутствует при «падении» Робеспьера. Штааль, умудрившийся по воле автора в буквальном смысле проспать важнейший исторический момент – низложение Робеспьера в Конвенте 9 термидора (27 июля), никак не влияет на ход истории, все события происходят при его пассивном соучастии в лучшем случае. С другой стороны, даже такое незначительное лицо, пассивный наблюдатель, косвенно влияет на цепь причин и следствий, тем самым оказываясь одним из бесчисленных случайных факторов, которые и определяют развитие истории.

С точки зрения современной теории хаоса здесь Алдановым иллюстрируется «эффект бабочки», который, в свою очередь, у современного читателя вызывает и аллюзию к рассказу Рея Брэдбери «И грянул гром» (1952), где гибель бабочки в далёком прошлом изменяет мир очень далекого будущего, так и к сказке братьев Grimm «Вошка и блошка» (1812), где ожог главной героини в итоге приводит ко всемирному потопу. Подобного рода концепт является важнейшим мировоззренческим принципом, на котором строится вся историософия Алданова-мыслителя.

В предисловии к роману «Чертов мост» (1925) Алданов прямо формулирует ключевые принципы своего подхода к исторической беллетристике: «Критики (особенно иностранные), даже весьма благосклонно принявшие мои романы, ставили мне в упрек то, что я преувеличиваю сходство событий конца 18-го века с нынешними <...>. По совести я не могу согласиться с этим упреком. Я не историк, однако извращением исторических фигур и событий нельзя заниматься и романисту. <...> я <...> никаких аналогий не выдумывал. Эпоха, взятая в серии “Мыслитель”, потому, вероятно, и интересна, что оттуда пошло почти все, занимающее людей нашего времени. Некоторые страницы исторического романа могут казаться отзвуком недавних событий. Но писатель не несет ответственности за повторения и длинноты истории».

Историзм Алданова – не иносказательное изображение той или иной эпохи, это, скорее, документальные фрагменты, наподобие фотографий из семейного фотоальбома, где в чертах людей, живших веком ранее, их потомок улавливает собственные черты. Отметим также, что особый акцент на соответствие изображаемых автором картин, информации, взятой им из достоверных источников – лейтмотив каждого алдановского предисловия в книгах тетралогии, как, впрочем, и в большинстве его других крупных исторических работ.

Помимо снятия барьеров между эпохами Алданов также уменьшает дистанцию между ролевыми историческими фигурами и безвестными обывателями: писатель доказывает, что люди по большей части одинаковы, у всех есть свои слабости, пристрастия, вредные привычки, а героические ореолы великих личностей – не более чем заслуга окружавших их льстецов. Императрица Екатерина, граф Воронцов, Робеспьер, Талейран, – все они говорят банальности, их повседневное поведение лишено какого-то особого величия. Так, во время одного из придворных приемов сиятельный вельможа граф Воронцов, страдая от головной боли, только и думает о том, когда уже всё это закончится, а после встречи со Штаалем отрешенно сидит у камина, «рассеянно подталкивая прутом тлеющие угли». Суворов в романе «Чертов мост» далек от эпического образа полководца, вселяющего ужас во врага. Вместо положенных «по штату» великому человеку глубокомысленных рассуждений он занимается всякого рода чудачествами: капают своему денщику на нос раскаленным воском, облаивает волкодава за три часа до рассвета и забавы ради на обсуждении плана боя презентует графу Бельгарду свои любительские опыты в стихосложении. Наконец, Наполеон на острове Св. Елены развлекается, кидая камешки в воду, жульничает при игре в карты и при перемене настроения становится обидчивым и язвительным. Здесь же отметим, что главной целью Алданова – в отличие от боготворимого им Льва Толстого! – не дегероизация Наполеона, а попытка выделить в образе императора Франции черты обычного человека, с его достоинствами и недостатками.

Вслед за тетралогией «Мыслитель» Алданов опубликовал трилогию о России эпохи Октября – «Ключ», «Бегство», «Пещера» (1929– 1936). В этих его романах картины переломной эпохи предстают как иллюстрации хроники жизни частных лиц из русского интеллигентского сословия – людей мыслящих, но инертных и бездеятельных, а потому не способных хоть как-то повлиять на ход происходящих вокруг них событий. Для Алданова любая революция – это, прежде всего, катастрофа. В своем историософском шедевре – романе «Истоки» (1943) – он, устами одного из персонажей, говорит: «Революция – это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда больше решительно ничего не остается делать, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови... Там, где еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая возможность вести культурную работу, культурную борьбу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление».

Это утверждение звучало в те годы резким диссонансом широко распространенным в тогдашнем мировом сообществе социальным иллюзиям. И в СССР, и Западном мире идея Революции, социалистической или консервативной (фашизм), тепло принималась интеллектуалами разного толка. В Революции видели закономерный и неизбежный результат исторического процесса, его катарсис, очищение от накопившегося за века бытийного мусора. Алданов же, как прагматик-реалист, твердо стоящий на почве фактов истории, заявлял совсем иную концепцию.

Со свойственным форме его высказываний ироническим подтекстом он утверждал, что ХХ в. явно «начитался» Достоевского, герои которого, в свое время явно выдуманные русским писателем, буквально шагнули в жизнь, заселили землю, стали нашими современниками, соседями, друзьями и врагами, политическими деятелями и литераторами [ТУНИМАНОВ]. Такими представляются и персонажи многих произведений самого Алданова: например, один из основных участников дела Дрейфуса, помощник начальника контрразведки майор Анри из

очерка «Пикар», вождь анархистов Себастьян Фор («Убийство президента Карно»), Азеф из одноименного очерка и многие другие

Алданов, постоянно, отметим, декларировавший свое категорическое неприятие мировоззренческой проповеди Достоевского, тем не менее, всегда ссылаясь на его человеческие типы, когда дело касалось необычных, выпадающих по своим поведенческим принципам из традиционного общества, личностей: «Какой бы роман мог бы написать о нем Достоевский», «Он был рожден, чтоб стать героем Достоевского».

Малая проза занимает особое место среди произведений Алданова. Его очерки появляются в газетах, преимущественно различных эмигрантских периодических изданиях, с середины 1920-х годов. Объектами изображения в них становились политики и их убийцы, а также всякого рода авантюристы – Мата Хари, например, или графиня Ламотт, чьи судьбы пересекались с миром политики, а скандалы, связанные с ними, имели громкий политический резонанс. Жанр очерка позволял автору отбросить маску резонера и напрямую высказывать свои суждения или предположения и комментировать свои принципы работы с источниками. Читая в 1937–1939 гг. очерки «Сент-Эмилионская трагедия», «Зигетт в дни террора» и «Фукье-Тенвиль», связанные с эпохой террора Великой французской революции, читатель неизбежно проводил параллели с тем, что происходило в СССР, где свирепствовал сталинский террор, сопровождавшийся показательными процессами над «врагами народа». В статьях, посвященных политикам-современникам, автор, декларирующий обычно свое недоверие к политическим пророчествам, делает все же долгосрочные прогнозы. В очерке «Гитлер» написанном за год до захвата Гитлером власти (1932), когда этого одиозного политика никто в Европе всерьез не воспринимал, Алданов пишет: «Разные дороги ведут в фашистский Рим, но, очевидно, диктатура Гитлеру необходима». В 1941 г. он предрекал Муссолини: «либо поражение в войне, либо служба у Гитлера на вторых ролях». В итоге, по воле всемогущего случая, реализовались оба сценария. По мнению эмигрантского рецензента Владимира Варшавского, «возможно, что именно эссеизм на историческом материале является литературной формой, наиболее “адекватно” выражающей формальный писательский состав Алданова».

С началом войны, после эмиграции и эвакуацией в США Алданов осваивает жанр рассказа, – более злободневный в его исполнении и часто пишущийся по следам актуальных событий. Некоторые произведения, как например, рассказ «Грета и Танк», отличаются стремительной динамикой, но остаются с открытым, новеллистическим концом, призывающим читателя домыслить финал по своему усмотрению. Другие – это скорее эскизные зарисовки. Среди них неоднозначно принятый американской критикой рассказ «Тьма», повествующий о французском Сопротивлении. В тщательно проработанном на предмет исторических деталей рассказе «Номер 14», центральным персонажем становится Муссолини. После войны в большинстве случаев героями рассказов опять выступают вымышленные персонажи. На их примерах автор либо исследует различные поведенческие модели людей в экстремальных ситуациях, либо сталкивает между собой в конфликтных ситуациях различные человеческие типы («Ночь в терминале», «На “Розе Люксембург”»), либо под прикрытием мелодраматического сюжета делится с читателем своими суждениями о жизни и политике

Ключевая книга для понимания алдановской историософии – «Ульмская ночь», Она написана в оригинальной форме «рефлексивного диалога» между двумя ипостасями автора – химиком Л (Ландау – настоящая фамилия писателя) и литератором А (Алданов – его псевдоним). Шесть диалогов в книге посвящены роли Случая в истории. Этим понятием определяется «совокупность причин, способствующих определению события и не оказывающих влияния на размер его вероятности, то есть на отношение числа случаев, благоприятных его осуществлению, к общему числу возможных случаев». Таким образом Алданов заявляет о бессмысленности каких-либо исторических прогнозов, ибо причинно-следственные цепи не связаны друг с другом, а решения зависят не столько от тщательного расчёта, сколько от слу-

чайных, зачастую сугубо человеческих факторов, например, эмоций, а также и форс-мажорных обстоятельств. Противостоять хаосу истории в мировоззренческой модели Алданова способны отдельные сильные личности, которые имеют чуть больше шансов склонить чашу весов в свою пользу. Так, рассуждая об успехе Ленина, Алданов подчеркивает, что в его случае: «личная цепь причинности очень сильного волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции». Вся история человечества, по мнению Алданова, – это борьба со случаем, в которой отлаженная в веках система морально-этических ценностей и приоритетов становится фундаментом развития цивилизации. Претворять эту систему в жизнь надлежит так называемому «тресту мозгов» – аналогу «государства философов» Платона. В Древней же Греции берет начало и центральный для книги принцип «калокагатии» («красоты-добра»), способствующий нравственной гармонизации обыденной действительности. «Красота-добро» проецируется на русскую литературу и культуру – и оказывается, что именно это, а не «бескрайность», является её ключевым принципом.

Как замечает А. И. Гершун-Колин в некрологе-обзоре «Марк Алданов: С признательностью в дань памяти» [GUERSHOON. P. 40]: «существовало две грани бытия, которые он уважал и на которые не распространялась его ирония: знание и красота»¹. Знание, научный прогресс, как способ устранения страдания и постижения окружающего мира, были крайне значимы для Алданова. Будучи химиком-профессионалом, он был прекрасно осведомлён о могуществе науки, ее способности преобразовать окружающий мир и одновременно опасностях, которые она в него привносит. В качестве небольшой детали, указывающей на значение энциклопедического знания для алдановской репрезентации своего «Я», отметим следующий факт: как характеристику, особо значимую для его имиджа писателя, Алданов называет заметку о себе в Британской энциклопедии. Так в постскриптуме письма к С.М. Соловейчику от 20 декабря 1955 г.², касающемся его номинирования <на этот раз, увы, последнего! – С. П.> на Нобелевскую премию по литературе, он пишет: «Можно ли и в этом году, т.е. в наступающем, просить Вас о том же, дорогой Самсон Моисеевич: пошлите в середине января воздушное письмо в Стокгольм, Шведской Академии, – уж если Вы так мило и любезно д<ел>али прежде. Упомяните и о последнем моем произведении, о «Бреде», – так полагается; если же у Вас осталась копия моих “титров”, – переведен на 24 языка, есть в Британской и других энциклопедиях <курсив наш – С. П.>, просто повторите. По-прежнему, ни малейших надежд не имею, но такие письма посылают каждый январь друзья еще 30 писателей разных стран, и их пример действует заразительно. Пеняйте на себя, на свою любезность. Заранее от души благодарю. Кроме Бунина и Вас, меня никто никогда не выставял». О нобелиане М. Алданова подробнее написано в книге, которую читатель держит в руках. Ссылки на авторитет энциклопедических справочников можно также обнаружить и в текстах Алданова: он нередко ссылается на «Французский революционный словарь», «Русский словарь, вышедший на рубеже веков» и, разумеется, Британскую энциклопедию. В романе «Пещера», например, Браун ищет в энциклопедическом словаре значение понятия «бессмертие». Этот эпизод подается Алдановым в присущей ему иронической манере. Ознакомившись с содержанием заметки на данную тему, Браун недовольтно замечает: «Да, это очень ценный вывод». О творчестве М. Алданова написано несколько монографий, десятки статей и научных диссертаций, как в современной России, так и за рубежом. Однако биография писателя до сегодняшнего дня оставалась «terra incognita» алдановедения. Возможно, жизнеописание писателя, мыслителя и – по определению Ивана Бунина, «последнего джентльмена» русской эмиграции, не представлялось историкам литературы интересным в силу скромности и неаффективности его личности. К тому

¹ «There were two facets of existence which he respected and which were spared his irony – learning and beauty». (Пер. с англ. автора).

² Письмо хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета (США).

же Алданов, как человек, тщательно оберегавший от постороннего глаза подробности личной жизни, не оставил биографам достаточно информации о своей персоне. Поэтому книга Марка Уральского по праву может считаться уникальной, это действительно прорыв в историческом алдановедении. Автору удалось собрать уникальный фактический материал, разыскать и ввести в научный оборот ранее неизвестные документы, касающиеся личности как Марка Алданова, так и его родственников. Вместе с тем книга Марка Уральского не является сугубо научной монографией. Она написана живо, с привлечением разнообразного историко-литературного материала, а потому вполне может быть отнесена к разряду произведений типа «Жизнь замечательных людей». Для поклонников литературы нон-фикшн, новая книга М. Уральского без сомнения окажется интересной читательской находкой.

Станислав Пестерев

(Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.

Ельцина,

Екатеринбург)

Марк Алданов – «русский европеец», историософ и идеолог российского европоцентризма

Если говорить о Марке Алданове как о мыслителе-интеллектуале, то здесь, не в последнюю очередь, должна прозвучать тема его европеизма. Алданов являл собой знаковый для русской культуры образ «русского европейца»³ (кн. Антиох Кантемир, кн. П.Б. Козловский, кн. П.В. Вяземский, А.И. и И.С. Тургеневы), человека, для которого русская и европейская культурные традиции образуют единое поле историософского дискурса. Владея несколькими европейскими языками, Алданов при всем том предпочитал французскую культуру, которую считал квинтэссенцией европеизма. В особенности ему импонировал присущий французскому духу скептицизм и уважение к чужому мнению и независимости мышления. Поэтому в актуальных дискуссиях, когда французские интеллектуалы, говоря о событиях в России, восхваляли историю Великой французской революции, Алданов ставил под сомнения их безоговорочные восторги, напоминая оппонентам о реалиях того времени – кровавом терроре, грязных махинациях отдельных революционеров, уничтожении памятников культуры. Видя в русской революции отражение собственной истории, французы в своем большинстве ей сочувствовали, предпочитая списывать все кровавые эксцессы и истребительную Гражданскую войну на «ам слав» – т.е. национальные особенности русского народа. Алданов же, напротив, утверждал внациональную закономерность происходящих в России потрясений. Он, в первую очередь, видел в них результат высвобождения хаотически-разрушительной стихии, что, по его глубокому убеждению, основанному на анализе документальных фактов, является следствием любого революционного процесса. В своих публицистических произведениях и историософской беллетристике Алданов заявлял французам, что по воле слепого Случая мы имеем все то, что не раз переживали вы сами в своей революционной истории, хотя и в иной исторической парадигме и, конечно, с элементами русской специфики. Однако «русское» в культурологическом плане заявлялось им как составная часть общеевропейского. По своим политическим взглядам, говоря языком современной политологии, Алданов был европоцентристом, заявляющим ценности современной западной цивилизации в качестве эталона мирового культурно-исторического развития. Европейское сообщество, в котором России отводилась бы роль полноправного уважаемого партнера, русский патриотизм без зазнайства, высокомерия и самоуничтожения – вот основные идеологические составляющие политической платформы Алданова, мечтавшего после окончания Второй мировой войны о создании единого европространства по оси Лондон – Париж – Берлин – Москва. Функции управления и стратегического планирования в единой Европе делегированы были бы, как он писал в своем философском трактате «Ульмская ночь», некоему «мозговому тресту» типа современного «совета Европы». Такого рода взгляды, декларируемые Алдановым в его публицистике, историософской беллетристике и обширной переписке с интеллектуалами русского Зарубежья, снискали ему уважение широких слоев русской эмиграции. Недаром в поздравлении к семидесятилетию писателя, опубликованном в «Новом журнале» (1956. № 46. С. 238.) говорится:

В лице М. А. Алданова эмиграция видит не только одного из выдающихся русских писателей нашего времени, сумевшего получить широкое международное признание. Для нее он еще и один из самых любимых писателей, с которым она ощущает себя особенно тесно связанной.

³ Авторство этого определения принадлежит мадам де Сталь, которая использовала его для характеристики личности кн. П.Б. Козловского [СТРУВЕ (1)].

Русская революция расщепила древо отечественной культуры на две составляющих, которые, развиваясь независимо друг от друга, всегда, как утверждал Алданов, оставались «в духе» частями единого целого. В этом целом явили себя два культурологических феномена – советская литература и литература русского Зарубежья. Одной из самых ярких фигур, которых выпестовала русская диаспора, несомненно, был Марк Алданов, писатель, горячо ратовавший за вестернизацию русского общества в тот исторический период, когда оно насильственно модернизировалось в духе идей марксизма-ленинизма.

В своей работе «Оправдание черновиков» [АДАМОВИЧ (VI)] крупнейший литературный критик русского зарубежья Георгий Адамович отмечает, что в литературных текстах писателей-эмигрантов существуют своего рода семантические подуровни, напоминающие своеобразную криптопись. Поэтому, если в процессе их прочтения использовать особый методологический «ключ», то читателю открываются новые, а подчас и совершенно иные по сравнению с обычным подходом, смысловые ходы и оттенки, связанные с особым ракурсом эмигрантского видения и мировосприятия. Об этом феномене пишет также В. Набоков в постскриптуме к русскому варианту «Лолиты» (Ardis, 1976) и В. Яновский в своих мемуарах «Поля Елисейские», где упоминает в этой связи и творчество Алданова, которое особенно насыщено такого рода эмигрантскими реминисценциями.

Эти же замечания, несомненно, применимы и к анализу прижизненной критики произведений Алданова. Они позволяют нам дать более достоверное истолкование житетворческой поэтики, присущей культуре эмиграции, и таким образом достигнуть лучшего понимания того, что старались донести до своих читателей эмигрантские мыслители-интеллектуалы. Дополнительным подспорьем здесь служат отзывы о Марке Алданове, выбранные из переписки, мемуаров и рецензий и содержащие сведения, излагаемые с точки зрения своего рода автобиографической поэтики. Все они, несмотря на запредельную субъективность, позволяют, тем не менее, «вжиться в образ персонажа», войти в глубинную сущность его творческой лаборатории, воссоздаваемой на основании свидетельств «живых лиц». Пример такого подхода с успехом демонстрирует автор книги «Марк Алданов: писатель, мыслитель и джентльмен русской эмиграции».

Глеб Струве в обзорном труде «Русская литература в изгнании», на протяжении многих лет служившем важнейшим, а порой и единственным пособием для тех, кто занимался эмигрантикой, писал: «Из всех эмигрантских писателей Алданов имел наибольший успех у не-русского читателя». И действительно, творчество Марка Алданова, отстаивающего идею вестернизации русской культуры, находится в своего рода послании к западному читателю. Не даром же он так гордился количеством переводов своих книг на иностранные языки. В письме от 9 марта 1948 года Бунину по поводу издательства «Истоков» на бенгальском языке мы можем прочесть: «Это мой двадцать четвертый язык. Когда будет двадцать пятый, угощу Вас шампанским. Вы верно за 25 языков перевалили?» [ГРИН (II). С. 140]. Как видно из книги М. Уральского, об этом факте упоминают и А. Бахрах, и Б. Зайцев, и А. Седых. Двадцать четыре языка стало в какой-то степени крылатым выражением, когда речь заходит об Алданове. Владимир Варшавский, анализируя схемы преемственности западной культуры в творчестве Алданова, предполагает, что он может остаться в истории русской эмиграции и русской литературы как самый известный автор публицистической беллетристики, написанной под влиянием западных моделей: «Недавно еще я слышал: на одном литературном собрании критик N., возмущенный успехом книг Алданова у эмигрантской читающей публики, говорил: “как будто бы никто не знает, что это заимствованный жанр”. В качестве первоисточника критик назвал какого-то английского автора. Я не читал этого автора. Может быть, действительно, Алданов ему подражает, но может быть английского в Алданове только та “первосортность”, о которой он говорит, описывая Лондон: “здесь все первосортно...” На западе, во Франции

например, культура публицистической беллетристики очень высока. По русски же хороших книг этого жанра очень мало. Алданов начинает почти на пустом месте» [ВАРШАВСКИЙ (I)].

В рецензии на роман «Ключ» В. Варшавский обращается также к алдановской европейскости: «Одно из самых больших очарований книг Алданова заключается в какой-то их европейской эlegantности и первосортности. Но этот “хороший тон”, европейское благообразие, отсутствие неистового и неграциозного, не приводят к сухости и условности. Благородная простота словесного материала не мешает ритму слов передавать ритм мыслей, и Алданов часто заставляет забыть о том, что между его мышлением и сознанием читателя стоят слова. Если прав Бергсон, в этом единственная тайна и единственное условие хорошей прозы» [ВАРШАВСКИЙ (II)].

В «Русской литературе в изгнании» Глеб Струве повторяет мысль, высказанную Владимиром Вейдле, по которой за алдановскими романами стоит традиция не русская, а западно-европейская, по преимуществу французская.

В современном алдановедении, например, в предисловии к французскому переводу «Самоубийства», вышедшего в 2017 г., Жервез Тассис развивает также идею европейскости алдановской исторической беллетристики [TASSIS (III)]. Со своей стороны, Марк Уральский однозначно утверждает: «В мировоззренческом плане Алданов являет собой культурно-исторический тип русского “западника”. В ряду такого рода знаменитостей – от Петра Чаадаева, Виссариона Белинского, Тимофея Грановского и Александра Герцена, до Дмитрия Мережковского и Максима Горького, Алданов ближе всего стоит к Ивану Тургеневу». С этим трудно не согласиться. Прожив во Франции в общей сложности около 35-ти лет, в совершенстве владея французским и зная французскую культуру на энциклопедическом уровне, Алданов не мог не офранцузиться. В изысканно-ясных с точки зрения русского языка текстах его произведений просвечивают французские структуры мышления, нередко встречаются галлицизмы, а то и целые французские выражения. Однако – на этом настаивал еще Г. Адамович, – несмотря на искушение французского культурно-интеллектуального окружения, Алданов остался верен русской литературе: «Казалось бы, в изгнании ему легче было, чем другим, сделаться Джозефом Конрадом или Анри Труайя. Давно бы уже был “бессмертным” <т.е. членом французской Академии – С.Г.>. Вместо этого предпочел влачить тяжелую жизнь русского писателя за границей и не изменять русскому языку» [АДАМОВИЧ (I). С. 119]. Да и сам Алданов в письме к Г. Струве говорит: «Очень медленно, в течение ряда лет, пишу очень длинную, тяжелую и вероятно, скучную философскую книгу. По необходимости пишу ее по-французски, так как русского издателя для такой книги не найти. Художественной книги я никогда на иностранном языке писать не стал бы, но философскую можно. Называется она “La Nuit d’Ulm” <“Ульмская ночь”> (название из биографии Декарта)» [СТРУВЕ (III)].

Нина Берберова писала: «Большинство из нас, во всяком случае большинство “молодых” – и в том числе и я – с благодарностью и благоговением брали от Франции, что могли. Все мы брали разное, но с одинаковой жадностью <...>. Между двумя войнами нам было из чего выбирать: Алданову и Ремизову, Бердяеву и Ходасевичу, Поплавскому и Набокову было что “клевать”, и не только клевать, но и кормить своих детенышей» [БЕРБЕРОВА (III). С. 565].

Эмигрантская критика небезосновательно прибавляла к влиянию Л. Толстого на Алданова, также и влияние Анатоля Франса. В предисловии к «Самоубийству» Алданов характеризуется Адамовичем как «русский Анатоль Франс» [АДАМОВИЧ (VI)].

В рецензии на «Одиночество и свободу» критик замечает, что «Алданова не раз сравнивали с Анатолем Франсом, подчеркивая общий для обоих романистов уклончиво иронический скептицизм (не так давно в печати промелькнуло сравнение более причудливое: “наш современный Петроний...”). Но при всем своем прирожденном западничестве, при всем своем европеизме Алданов в глубине творчества ведет и продолжает линию скорее традиционно русскую, чем анатоль-франсовскую». В. Варшавский, рецензируя «Портреты Алданова»,

настаивает на флюберовском влиянии на алдановское творчество [ВАРШАВСКИЙ (III). С. 221]. Александр Кизеветтер чувствует в тексте Алданова отсылку к стихотворению «Chanson d'automne» («Осенняя песнь») Поля Верлена [КИЗЕВЕТТЕР. С. 478]. Известна высочайшая оценка, которую не приемлющий в целом модернизма Алданов давал прозе Марселя Пруста: «Думаю, что именно в изумительном знании людей, соединенном с огромной изобразительной силой, главная сила Пруста» [АЛДАНОВ (XX)].

В предисловие к бунинской книге «О Чехове», которое является исключительно интересным с литературоведческой точки зрения, Алданов ставит пример Чехова на французскую почву: «Перед кем, например, из французских писателей так рано открывался доступ в Академию, в *Comédie française*, кому из них издатели платили такие деньги?». Как бы проводя параллель своей жизни с чеховской биографией, Алданов-критик обращает внимание на тот факт, что внимание Чехова также занимали переводы его книг на иностранные языки: «В одном из своих писем он отмечает – очевидно, как “событие”, – что его перевели на датский язык, и забавно добавляет: “Теперь я спокоен за Данию”» [АЛДАНОВ (XXI)].

В этой перспективе для Алданова становится важен вопрос: как Запад относится к творчеству двух последних классиков русской литературы? Он выделяет тот факт, что на Западе у Чехова больше ценятся пьесы, а не рассказы, у Бунина же знаменитым является вестернизированный рассказ «Господин из Сан-Франциско», а не насыщенную русским колоритом «Жизнь Арсеньева».

В книге «Одиночество и свобода» Г. Адамович с похвалой отмечает художественные особенности алдановских романов: «Есть во всем, что пишет Алданов, одна особенность, которую не могут не ценить читатели: необычайная “занимательность” чуть ли не каждой страницы»; «У него – особый, редкий дар: он как бы непрерывно заполняет пустоты в читательском сознании, ни на минуту его не отпуская, но при этом нисколько не утомляя». Адамович указывает на объективность алдановского письма и отсутствие в нем субъективно-личностных взглядов: «Алданов как будто стесняется занимать читателя самим собой, т.е. подчеркнуто личным взглядом на что-либо, каким-либо исключительно индивидуальным чувством». Алдановские мысли и присущее ему мировидение остаются неуловимыми в его романах: «Алданов, при внимательном и долгом чтении его книг, становится близок и ясен в целом, но то, что обычно определяется как “мировоззрение” – т.е. не психологический склад, а мысли и взгляды, – это остается неуловимо (по крайней мере, в романах его)». «Ни один из современных русских писателей не создал чего-либо достойного сравнения с романами Алданова по сложности частей, по законченности и четкости архитектоники. Композиционный дар, обнаружившийся давно, уже в исторической алдановской трилогии, – явление у нас исключительное, а кому кажется, что композиция в повествовании не бог весть как важна, тому следовало бы вспомнить пушкинские знаменитые слова о “едином плане дантова Ада...”». Им также приводятся примеры стилистического параллелизма между Достоевским и Алдановым, не ведущие, однако, к общему складу написания прозы: отсутствие природы, отвлеченность тем в диалогах, действующие и говорящие герои, «загадочно-двоящийся» тон фабулы. «Смелость» и «твердость» являются также двумя существенными художественными характеристиками алдановского творчества. Выходя за вопросы литературной техники, Адамович отмечает у него отсутствие поэтического вдохновения, что ведет его прозаизм к прочной композиции романов. И в отсутствии поэтического критик видит глубокий общечеловеческий смысл [АДАМОВИЧ (III). С. 129, 130–131; 144; 148].

Интересная черта алдановской поэтики отмечается в рецензиях на роман «Бегство» В. Вейдле: «Люди привлекают его не поскольку они неповторимы, а поскольку они повторяются» [ВЕЙДЛЕ (II)], и М. Цетлина: «Критика уже отмечала, что к современности Алданов подошел отчасти как исторический романист. Мало того, связанные единством личности их

автора его герои имеют порой нечто схожее между собой, известный *air de famille*⁴» [ЦЕТЛИН (I)]. Варшавский в рецензии на роман «Ключ» описывает пустотность, картонность мира алдановских романов, основанных на реальности движения в пустотном пространстве: «Люди Алданова, несмотря на всю их жизненную несомненность, вдруг представляются слегка картонными, как бы пустыми внутри, лишенными реальных душ. Они только брызги и пыль, мелькание какого-то движения. Возможно, что это движение – единственная реальность, о которой рассказывается в “Ключе”. Но это необъяснимое в самом себе движение свершается как бы на краю пустоты, так как мир Алданова ничем не объемлется и ни на чем не зиждется» [ВАРШАВСКИЙ (III). С. 221].

На примере последних глав «Заговора» Г. Адамович разрабатывает концепцию фрагментарности/эпизодичности, складывающейся в единое эстетическо-этическое целое: «ведь романы Алданова по самой природе “отрывочны”. Они составлены из ряда ярких картин или эпизодов; каждый из эпизодов живет самостоятельной жизнью, все вместе складываются в нечто цельное, – складываются, но не сливаются. Это отличительная черта алдановской манеры» [АДАМОВИЧ (VII)].

Помимо уникальной для русской литературы «поэтики вестернизации», литературный успех Алданова можно объяснить и тем, что, уходя в историческую событийность, он всегда опирается на эмигрантскую современность. При этом он «ни к чему не призывает, он не столько проповедует, сколько внушает, и, не мешая никому жить, “как хочешь”» [АДАМОВИЧ (III). С. 149]. Здесь можно также привести в качестве примера алдановскую пьесу «Линия Брунгильды». Михаил Цетлин писал: «успех пьесы Алданова не случаен. Действительно, не только своей темой, но всем своим “воздухом” – языком, духом – она связана с эмиграцией. Хотя ее действие происходит в сравнительно далеком прошлом, но прошлое это для нас так живо, как едва ли жив и вчерашний день, ведь это перелом нашей жизни, бегство, начало эмиграции» [ЦЕТЛИН (II)].

И все же современники не раз задавались вопросом: художественна ли, в самом деле, алдановская проза, «та сочиненность его, – как писал Набоков-Сириин, – о которой глухо толкуют в кулуарах алдановской славы» [СИРИИН]? Васили Яновский критически относившийся к алдановской прозе, считал, что: «Алданов, талантливейший, культурнейший публицист, почему-то задумал писать бесконечные романы. И это была роковая ошибка» [ЯНОВСКИЙ В.]. В рецензии к «Портретам» Владимир Варшавский, поднимая этот вопрос, писал: «Образы героев сделаны на основании чисто фактического материала. И все-таки, я думаю, что эта книга художественная литература, а не публицистика; если, конечно, критерием художественности признавать не какие либо формальные определения, а соответствие требованию, что бы произведение являлось “бескорыстным”, неутилитарным выражением души писателя и того, как в ней отображается мир» [ВАРШАВСКИЙ (III). С. 221].

Уже после кончины Алданова, как бы подводя итог, Г. Адамовича писал И. Чиннову 20 ноября 1957 года: «Поверьте, я знаю и понимаю, почему Вам <...> и другим Алд<анов> кажется плоским и пустым. Вы на 9/10 правы: он никак не художник, ни в чем. Но у него есть грусть, а грусть – это все-таки эрзац поэзии, и мне этот эрзац лично по душе больше, чем подделки иные. Кроме того, он – не притворяется ничем и никем. Он – то, что он есть, и, во всяком случае, не выдает фальшивых драгоценностей за бриллианты от Фаберже. Я это в нем ценю и люблю. <...> “il n’y a pas de plaisir à vivre dans un univers où tout le monde triche”»⁵ [ЕСЛИ_ЧУДО. С. 44]. Из более позднего письма от 30 апреля 1960 года к тому же адресату мы видим, что критерий правдивости, «человеческого документа» чрезвычайно важен для критика в его оценке алдановского творчества: «Алданов – предмет моего вечного расхождения

⁴ *air de famille* – фамильное сходство (фр.).

⁵ Перевод с французского высказывания Андре Жиды: «Нерадостно жить в мире, в котором все жульничают».

со всеми литературными сливками, и я остаюсь, при своем, твердо. Кое в чем Вы (т. е. Вы все) правы, но мне дорого у Алд<анова> анти-жюльничество, которого Вы (опять все, все) не хотите оценить» [ЕСЛИ_ЧУДО. С. 55].

Поэт Юрий Терапиано писал из Парижа литературоведу из эмигрантов «второй волны» В.Ф. Маркову в Лос-Анжелес 27 марта 1957 года: «Очень огорчила здесь всех смерть Алданова. Оставляя в стороне его значение как писателя и мыслителя, человечески многие очень его любили. Явление редкое – А<лданов> действительно был хорошим коллегой, не сплетничал, не завидовал и никого не ругал, как Бунин, например» [ЕСЛИ_ЧУДО. С. 277]. Георгий Иванов в письме к М. Алданову за 6 февраля 1948 года, приведенном в книге М. Уральского, особо отмечал присущее этому русскому писателю «безукоризненное джентльменство – и житейское, и литературное». Писательское сообщество, как известно, состоит из людей язвительных, самолюбивых, завистливых, склонных к различного рода эффектам, в том числе клевете и эпатажу. В эмиграции, где писательская братия чувствовала себя особенно обойденной вниманием, никому не нужной и неустроенной, эти качества проявлялись особенно остро. Например, в «Полях Елисейских» желчный Яновский пишет: «все знали, что Осоргин и Алданов никогда ни от каких “обществ” или частных жертвователей субсидий не получали и не желали получать. Но это вызывало только циничные замечания Иванова, стригшего без зазрения совести и трусливых овец, и блудливых волков». И далее уже про Алданова: «даже на его доброжелательности, услужливости, порядочности был какой-то налет лжи, которую так ненавидел обожаемый Алдановым Лев Толстой» [ЯНОВСКИЙ В.]. Но все эти выпады против личности Алданова, отмеченные нами для полноты исторической картины, – капли в море славословий, расточаемых современниками в адрес этого, по определению Бунина, «последнего джентльмена эмиграции».

Представляется вполне закономерным, что взгляды на феномен русской эмиграции могут отличаться. В культурно-исторической оценке ближних своих представители эмиграции часто бывали предвзяты или излишне субъективны. Это, в частности, проявляется и в отношении ближайших современников к алдановскому наследию. В «Полях Елисейских» Яновский вспоминает о своем разговоре касательно романов Алданова с Ильей Фондаминским, бывшим одним из редакторов журнала «Современные записки», в котором они всегда публиковались:

– Почему вы так дурно отзывались об Алданове? – спросил меня раз Фондаминский. Я объяснил, потом добавил:

– Через двадцать лет после смерти автора никто серьезно не вспомнит про его романы.

Фондаминский отрицательно покачал головой:

– Вы ошибаетесь. Не через двадцать лет, а гораздо раньше! – и рассмеялся».

<...>

Когда Адамович хвалил Алданова, ему, вероятно, казалось, что большого греха в этом нет, через пятьдесят лет все равно лопух вырастет...

[ЯНОВСКИЙ В.]

Да и сам Алданов невысоко ставил значение своей прозы в сравнении со значимостью его же научных работ в области физической химии – см. в книге его письмо к И. Бунину за 7 июля 1936 года. И писатель, и вышепоименованные его собраты по перу ошибались. Прав оказался лишь их общий товарищ Андрей Седых, напророчивший: «Алданова не забудут» [СЕДЫХ (I). С. 54]. И действительно, по прошествии 30-ти лет со дня смерти писателя его открыли в России, где его книги и собрания сочинений стали издаваться внушительными тиражами. В родном отечестве Алданова прочли заново, свежим взглядом, и продолжают читать и изучать

по сей день. В чем же действительно состоит тайна Алданова – мыслителя, «русскоцентриста», «франкофила» и беллетриста-историсофа, на этот вопрос, можно полагать, ответит время.

Один из ведущих современных алдановедов филолог-славист Жервез Тассис пишет в начале своей книги, опубликованной в Швейцарии в 1995 году, что о подробностях личной жизни Марка Алданова историкам литературы почти ничего не известно [TASSIS. С. 3]. Через неполных четверть века появилась на свет книга М. Уральского «Марк Алданов: Писатель, мыслитель и джентльмен русской эмиграции», впервые представляющая читателю подробное жизнеописание этого писателя. Автору удалось, почти что ex nihilo, вводя в научный оборот открытые им архивные материалы и фактические данные, тщательнейшим образом препарированные из алдановской переписки и воспоминаний современников, осуществить широко-масштабную реконструкцию алдановской биографии. Кроме того в книге М. Уральского приводятся обширные сведения о русской эмиграции «первой волны», что позволяет «читателям, интересующимся дальнейшей судьбой “живых образцов” за горизонтом “правдивой повести”», осмыслить особенности жизненного пути Алданова в контексте истории того времени.

В заключении хотелось бы пожелать, чтобы книга «Марк Алданов: писатель, мыслитель и джентльмен русской эмиграции» стала бы своего рода краеугольным камнем биографической галереи писателей русского Зарубежья, чьи биографии в большинстве своем не написаны.

Светлана Гарциано

(Лионский университет им. Жана Мулена).

Часть I: Молодой Алданов – счастливые годы (1886–1917 гг.)

*В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни.*

Александр Пушкин

Глава 1. «Кіевъ-градъ» (1886–1910 гг.)⁶

*Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!*

Алексей Хомяков

Чужая жизнь тайна – это давно сказано. Мы ничего ни о ком толком не знаем. Из малого числа известных нам о человеке важных фактов (для ясного понимания которых нужно было бы знать огромное число фактов не столь важных и поэтому неизвестных) биограф создает более или менее вероятную схему и старательно укладывает в нее жизнь своего героя: первый период, второй период, третий период... [«Клемансо» АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

Биография Марка Алданова – одного из самых видных и, несомненно, самого популярного писателя русского Зарубежья, до сих пор не написана. Особенно мало сведений имеется о его доэмигрантском периоде жизни. Даже в обобщающей творческий путь писателя статье английского слависта Андрея Гершун-Коллина [GUERSHOON], с которым Алданов был лично знаком, о происхождении Алданова и его жизни в России сказано буквально несколько слов. Отметим, как печальное совпадение, что статья «Марк Алданов: оценка и память» увидела свет через 10 месяцев после смерти писателя, в декабре 1957 г., который, увы, стал и годом кончины ее автора – Гершун-Коллина.

Никак не прояснены детали дореволюционной жизни Марка Алданова в работах других алдановедов, в частности Андрея Чернышева – историка литературы, открывшего современному русскому читателю творчество Алданова: см., его предисловия к различным его собраниям сочинений Алданова и работу «Материк по имени «Марк Алданов» [ЧЕРНЫШЕВ А. (I)].

Не вдаваясь в анализ причин подобного равнодушия к биографии знаменитого писателя, отметим как очевидный факт, что историю его жизни не составляет большого труда кодифицировать, разбить, говоря его словами, *по графам*, затем сложить их воедино. Картина получилась бы довольно простая, ибо в отличие от героя одного из его литературных портретов – знаменитого французского политика начала XX в. Жоржа Клемансо, Алданов и в конце жизни старательно служил тому, чему посчитал своим долгом служить в начале своей карьеры. И хотя очень часто жизнь незаурядного человека на самом деле много сложнее, чем кажется по результату простого обобщения отдельных ее «граф» и «периодов», у Алданова на протяжении 50 лет его духовного служения идее красоты – добра (калогатия⁷) наблюдается четкая согласованность декларируемого им образа мыслей и диктуемых ими поступков. И это при том,

⁶ Автор выражает глубокую благодарность доктору Жервез Тассис-Рандеггер (Женева) и доктору Эрнсту Зальцбергу (Торонто), взявшим на себя труд прочесть рукопись и макет книги и сделавшим ряд ценных замечаний, а также Ростиславу Толчинскому (Париж), любезно приславшему фотографию могилы супругов Алдановых в Ницце.

⁷ Калогатия – гр., Kaloskagathos (др.-греч. καλοκαγαθία – «прекрасный и хороший», «красивый и добрый») – термин античной этики, составленный из двух прилагательных: καλός (прекрасный) и ἀγαθός (добрый), что в приблизительном переводе означает «нравственная красота». Этот одновременно социально-политический, педагогический, этический и эстетический идеал человеческой личности повлиял на идеальное понятие гармонически развитой личности, существующее в культуре Нового времени.

что жизненный путь Алданова, как и всего поколения людей эпохи «Серебряного века» – это воистину «хождение по мукам».

Молодой Алданов, после крушение всех своих надежд на лучшую долю Отечества, вынужден был бежать из России – первая эмиграция (1919–1941). Затем последовали второе вынужденное бегство – из Франции, страны, гостеприимно давшей ему, апатриду, приют, и трудный период налаживания личной жизни в США (1940–1946). И, наконец, к концу жизни, и счастливое возвращение во Францию, ставшей его второй родиной, в полюбившуюся ему Ниццу. Марк Алданов скончался в этом средиземноморском городе на Лазурном берегу 25 февраля 1957 года и был похоронен там же, на муниципальном кладбище Кокад (Cimetière Caucade)⁸.

Однако в современном алдановедении, – а Алдановым, отметим, в последние десятилетия занимаются главным образом в России!⁹ – биография писателя, особенно ее дореволюционная составляющая, до сих пор окутана дымкой неизвестности, хотя в целом его образ, как русского писателя-эмигранта «первой волны», достаточно прояснен.

Что касается происхождения Алданова, то обычно указывается только то, что он родился в Российской империи, в Киеве, в состоятельной и культурной еврейской семье. В Киеве прошла его молодость, т.е. пора физического и духовного созревания. Но в каких условиях, в какой обстановке – семейной и общественно-политической, взрастал Алданов? На фоне какого природного и урбанистического ландшафта – фактор исключительно важный для формирования личности русского человека XIX столетия! – проходило его взросление и возмужание? В каком «культурном бульоне» варился этот человек в годы своей молодости? Все эти вопросы до сих пор остаются без ответа. А ведь Алданов, подчеркнем, навсегда покинул родину уже зрелым, сложившемся в духовно-интеллектуальном отношении человеком 33 лет отроду!

Имеются, несомненно, и объективные факторы, сильно осложняющие поиск биографических подробностей жизни Алданова.

Во-первых, все архивные документы, которые могли бы пролить дополнительный свет на личность отца Марка Алданова старшего, погибли в России или бесследно исчезли после того, как «достались немцам»¹⁰, которые разграбили парижскую квартиру бежавших на юг Франции Алдановых в 1940 г.

Во-вторых, что представляется особенно важным, Алданов по характеру был человек скрытный, тщательно оберегающий от посторонних глаз свою личную жизнь. О «закрытости» Алданова свидетельствует, например, публицист и мемуарист «русского рассеяния» Александр Бахрах, который был «с ним знаком с незапамятных времен». В очень теплой и подробной статье «Вспоминая Алданова» он пишет, что

Алданов был человеком с двойным, если не с тройным, дном и его внешняя застегнутость была в какой-то мере показной, некой самозащитой, не столько от посторонних, сколько от самого себя. Он был, несомненно, много сложнее того, каким он виделся со стороны. <...> ...игру мысли Алданова-писателя можно без особого труда раскрыть и, собственно, свести ее к великим словам Екклезиаста о суете, но образ Ландау-человека, если отбросить его литературный псевдоним, разгадать много труднее. Свое подлинное «я» он умышленно затемнял и прикрывал его, если не маской, то, во всяком случае полумаской [БАХРАХ (I)].

Третьим отягчающим обстоятельством для биографов является тот факт, что

⁸ Find a Grave: URL: <https://www.findagrave.com/memorial/75714943/mark-alexandrovich-aldanov>.

⁹ См. в наст. книге раздел: БИБЛИОГРАФИЯ ПО ТЕМЕ «АЛДАНОВЕДЕНИЕ».

¹⁰ См. письмо М.А. Алданова В. Н. Муромцевой-Буниной от 7 декабря 1953 года [ГРИН (II). С. 113].

Алданов не оставил воспоминаний и завещал уничтожить часть своего архива, не желая сообщать каких-либо сведений о себе и своих современниках, тем более, еще живых. В то же время характерно его стремление увековечить текущий момент и осознание особой роли эмиграции, при котором факт личной биографии становился частью общеэмигрантской истории, а миссионерские представления диктовали поведение в быту,

– в частности «джентльменство», «чистоту политических риз», «всеотзывчивость» и тому подобные качества, долженствующие по его глубокому убеждению быть присущими представителям «ордена русской интеллигенции». К ним относится и личная скромность и скрытность, столь свойственные Алданову. В его кипучей общественной деятельности интимные подробности биографии старательно замалчиваются, а упор всегда делается на соблюдении кодекса эмигрантской чести и постоянную борьбу за репутацию русской эмиграции в целом.

Осознание себя как объекта истории и как представителя эмиграции накладывало особую ответственность за свою репутацию, в первую очередь, политическую, а личная биография становилась политическим аргументом в борьбе большевистской и эмигрантской идеи. В этом смысле Алданов уподоблял себя дипломату, ежедневно в официальных выступлениях и в быту представляющего свою страну и являющегося ее лицом. С другой стороны, его деятельность вполне вписывалась и в масонские представления о жизнестроительстве, а он, как многие другие эмигрантские политики и общественные деятели, был масоном. В итоге ему одному из немногих эмигрантских общественных деятелей удалось сохранить свою биографию незапятнанной, заслужив таким образом звания «последнего джентльмена русской эмиграции» и «принца, путешествующего инкогнито» [ЛАГАШИНА (II)].

Великий знаток человеческой природы Зигмунд Фрейд утверждал, что:

«Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри».

Можно полагать, что внутри Алданова пребывало немало демонов – и демон сомнений, и демон неуверенности в себе, и демон страха жизни, но всех их он крепко держал в узде, являя себя в глазах окружающих в высшей степени комильфо. Поэтому реконструкцию живого образа Алданова приходится вести буквально по крохам, собирая и расшифровывая случайные оговорки и упоминания биографического характера в его переписке, данные исторических документов и воспоминания свидетелей времени.

Мордехай-Маркус Израилевич Ландау¹¹, он же впоследствии Марк Александрович Ландау-Алданов (Алданов – анаграмма-псевдоним, ставшая затем настоящей фамилией) – коренной киевлянин. Он не только родился 26 октября (7 ноября) 1886 г. в Киеве, но и детство и юность его неразрывно связаны с этим городом. Таким образом, можно полагать, что Алданов по своей природе был, что называется, человек *городской*. Однако сельский ландшафт не являлся в детско-юношеские годы для него совсем чужим. Так, в письме к Ивану Бунину от 22 августа 1947 года он сообщает:

Я не совсем городской житель: до 17 лет, а иногда и позднее, я каждое лето проводил в очаровательной деревне Иванково, где был сахарный завод моего отца, с очаровательным домом, парком и заросшей рекой. (Позднее,

¹¹ Так он официально именовался в метрической книге, копия из которой имеется в его личном деле студента Киевского университета Св. Владимира, хранящегося ныне в Государственном архиве г. Киева: Фонд № 16, опись 464, ед. хранения 5866 (на 31 листе).

окончив гимназию и став «большим», начал ездить за границу, а с 1911 в этом раю не бывал совсем). Но эта деревня была в Волынской губернии, т. е. в Малороссии.

Великорусской деревни я действительно не знаю, – только видел кое-что, как Ясную Поляну в 1912 году [ЗВЕЕРС (IV). С. 139].

Волынская губерния с ее главным городом Житомиром была самой западной окраиной Российской империи, граничившей с Австро-Венгрией. Основное население ее составляли малороссы (украинцы) – более 70% и евреи – более 13 %. Из промышленных производств особенно процветало сахарозаводчество. Купцами 1 и 2-й гильдии в губернии являлись только евреи [ЕврЭнци. Т. 5. Стлб. 738–743]. Отец Марка Алданова – Александр (Израиль) Моисеевич Ландау, имевший на Волыни, в нынешней Херсонской области, свое предприятие – Иванковский сахарный завод, относился к их числу.

Но все же детство и юность Алданова прошли главным образом в Киеве.

На рубеже XIX–XX столетий Киев являлся не более чем крупным губернским центром, седьмым по численности населения в Российской империи – после Ст.-Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы, Лодзи и Риги (около 250 тыс. человек) [ЭнциСлов-БрЕ. Т. 27а (54). С.83].

Несмотря на «провинциальность», Киев, по своему историческому значению стоял вровень с Москвой¹² – столица древней Руси, город Святого Равноапостольного Князя Владимира, который, согласно летописи, в 987 г. на совете бояр принял решение о крещении Руси «по закону греческому». Решение это, напомним, носило сугубо политический характер. Против тогдашнего византийского императора Василия II Болгаробойца (958–1025) взбунтовался его военачальник Варда Фока Младший, который одержал несколько побед, вследствие чего

...побудила его <императора Василия> нужда послать к царю русов – а они его враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия <Анне>, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий <...>. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов и они окрестили царя <...>. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушей [РОЗЕН].

Киев был славен священной для русских сердец историей и при этом очень красив. Николай Гоголь со свойственной ему романтической пылкостью писал:

В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, со своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр [ВЕРЕСАЕВ. С. 148].

В одном, например, путеводителе конца XIX в. указывалось:

...общий вид Киева настолько живописен, что вообще мало есть городов, которые могли бы с ним соперничать в этом отношении, разве что один только Константинополь [АНДРЕЕ-ПУТ].

¹² «Киев – колыбель святой веры наших предков и вместе с сим первый свидетель их гражданской самобытности», – сказано в высочайшем указе императора Николая Павловича об учреждении киевского университета Св. Владимира.

В конце XIX – начале XX в. Киев, центральные улицы которого с дорогими магазинами и ресторанами быстро застраивались многоэтажными домами, помимо красоты обрел и особую атмосферу, возможно, не настолько притягательную, как у Парижа или Вены, но, тем не менее, запоминающуюся на всю жизнь. Панегирики Киеву писали многие киевляне-современники Марка Алданова, ставшие знаменитыми людьми, например, Михаил Булгаков:

Эх, Киев-город! Красота!.. Вот так – Лавра пылает на горах, а Днепр, неопиcуемый свет! Травы! Сеном пахнет! Склоны! Доли!..

<...>

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте... Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

<...>

... в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег... [БУЛГАКОВ].

Николай Бердяев, с которым в 1950-е годы дискутировал Алданов, вспоминая в своем философско-автобиографическом труде «Самопознание» о детстве, писал:

Киев один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софиевским собором, одной из лучших церквей России [БЕРДЯЕВ (I). Гл. I].

А вот хвалебное лирическое слово городу урожденного киевлянина Константина Паустовского:

На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья – прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сырое дыхание молодой травы, шум недавно распутившихся листьев.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.

Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца.

Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

<...>

...Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел.

Среди лужаек били фонтаны.

<...>

.. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю, и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы, и спустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом [ПАУСТОВСКИЙ. Кн. 1. Гардемарин].

Другой урожденный киевлянин, современник Алданова – Илья Эренбург, вспоминал:

Летом на Крещатике в кафе сидели люди – прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением. <...> Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север [ЭРЕНБУРГ. Кн. 2. Гл. 9].

Знаменитый балетмейстер, хореограф и танцовщик Серж Лифарь, тоже киевлянин, говорил о своём родном городе:

За двадцать лет моих бесконечных скитаний я нигде не видел более красивого города, в котором сочетаются и будущее, и прошлое, где живёт человеческий гений, где можно быть свободным и где глаз открывает бесконечный горизонт, озарённый солнцем [ЛИФАРЬ].

Ученые люди, как историки, так и экономисты, в один голос заявляют, что Киев всегда находился на перекрёстке торговых путей, имея важное значение «как в прошлом, так и в настоящем» [НЕВЗОРОВ. С. 194]. Исторически он являлся средоточием всего Юго-Западного края Российской империи, центральным местом его деловой активности. Вся торговля Юго-Западного края была сосредоточена в Киеве, а по объёму торговли сахаром город был главный центром всей страны.

К началу XX в. полностью проявилась специализация крупнейших украинских финансовых центров, где существовали товарно-фондовые биржи (в Киеве <...>, Одессе и Харькове). В этих городах были сосредоточены операции с ценными бумагами, быстро развивалась сфера финансовых услуг и сформировались бизнес-сети, каждая из которых имела особенности своего развития. С этими сетями было связано и зарождение финансовой элиты, сосредоточившей в своих руках значительные капиталы, полученные от производства сахара в Киеве, экспорта зерна в Одессе, <...> развития металлургической промышленности на востоке Украины. Киев, «столица сахара», сформировался как финансовый центр за счёт экспорта сахара, производившегося на заводах Киевской¹³ и других губерний центральной Украины. Высокая прибыльность сахарной промышленности обеспечивала этот финансовый центр значительными капиталами, а за право инвестировать капиталы в производство сахара шла конкурентная борьба между крупнейшими банками. Финансовая инфраструктура города к началу XX в. была весьма разветвлённой, а киевские банкирские конторы использовали капиталы сахарных магнатов для игры на повышение на Петербургской бирже [МОШЕНСКИЙ. С. 23, 16–17].

По национальному составу Киев был выражен русский город: в конце XIX начале XX в. русские составляли около 56% от общего числа всех его обитателей, украинцы – 22% и евреи около 14 % [НАС-КИЕВ]¹⁴. Евреи играли исключительно активную роль в деловой жизни

¹³ По количеству сахарных заводов (в 1891 г. их было 63) Киевская губерния занимала первое место в Российской империи.

¹⁴ На самом деле число евреев было больше, так как многие уклонялись от регистрации: URL: [http://www.ejwiki.org/wiki/Киев_\(еврейская_община\)](http://www.ejwiki.org/wiki/Киев_(еврейская_община)).

города [НАТАН], например, в списке Евреев Киева купцов 1-й гильдии числится 279 человек – одна треть всего списочного состава [СПИСОК ЕврКИЕВА], евреи составляли 44% киевского купечества, а на еврейские производства приходилась четверть выпускаемой в городе продукции.

Евреи управляли киевской биржей, которая играла огромную роль не только в деловой жизни города, но и в общероссийской системе торговли ценными бумагами и сырьевыми продуктами.

В быстром превращении Киева в один из финансовых центров решающую роль сыграл общемировой экономический подъём конца XIX века, в эпоху экспорта капитала достигший Киева.

<...>

..Киевская биржа считалась «биржей второго разряда» вместе с Одесской и Варшавской (к «первому разряду» относилась только Петербургская биржа). <...> ...в середине 1890-х годов начался новый период экономического подъёма. Это отразилось и на активности рынка ценных бумаг, в том числе и на региональных биржах. Биржевой ажиотаж охватил «кроме обеих столиц... почти все крупные города». Харьков, Варшава, Киев «отчасти оперируют на своих собственных биржах и отчасти поддерживают непрерывные телеграфные сношения с Петербургской биржей».

«В Киеве играет стар и млад», – говорили в 1910-е годы, когда спекуляция ценными бумагами особенно расцвела. В этом отношении Киевская биржа была гораздо более активной, чем Одесская, где биржевую игру вела небольшая группа опытных дельцов, а случайных частных участников почти не было. В сентябре 1894 г. началась игра на повышение, и «передовая роль в этой кампании принадлежала киевским спекулянтам, которые задают своими приказами на покупку и продажу лихорадочную работу киевским банкирским конторам. Изображая собой посредников между киевскими спекулянтами и Петербургской биржей, наши конторы зарабатывают солидные куртажи. Говорят, что есть счастливые банкиры, загребавшие в качестве куртажа по тысяче и более рублей в каждый биржевой день».

<...>

Официальные маклеры и неофициальные биржевые игроки мирно уживались друг с другом. «Биржевые зайцы» ежедневно приходили к зданию биржи и тут находили свою клиентуру. Они собирались на улице перед биржей или же в первой половине дня в бывшей рядом кофейне «Кондитерская Семадени», принадлежавшей швейцарцу Бернару Семадени. Кофейня Семадени считалась одной из лучших в городе и была расположена в здании, где помещался Дворянский банк. Кроме того, Б. А. Семадени был владельцем кондитерской и ресторана, находившихся рядом с кофейней. Особенно многочисленными собрания биржевиков у Семадени стали после 1895 г., когда полиция стала запрещать собрания «уличных биржевиков», встречавшихся на различных бульварах в центре города. В кофейне Семадени стояли трёхногие мраморные столики, исписанные цифрами – «у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки» [МОШЕНСКИЙ. С. 24, 25, 52–54, 59].

Вот, например, интересный с исторической точки зрения литературный этюд «О бирже на Крещатике», принадлежащий перу Шолом-Алейхема:

Я втерся в компанию маклеров и сам стал, с Божьей помощью, не из последних, сижу уже у Семадени наравне со всеми за белым мраморным столиком, как в Одессе, и пью кофе со сдобными булочками. Такой уж здесь обычай – не то подходит человек и выгоняет вон.

Тут, у Семадени, и есть самая биржа. Сюда собираются маклеры со всех концов света.

Здесь всегда крик, шум, гам, как – не в пример будь сказано, – в синагоге: все говорят, смеются, размахивают руками. Иной раз ссорятся, спорят, затем судятся, потому что при дележе куртажа вечно возникают недоразумения и претензии; без суда посторонних лиц, без проклятий, кукишей и оплеух никогда ни у кого – в том числе и у меня – не обходится [ШОЛОМАЛЕЙХЕМ].

«Духовность» патриархального Киева быстро сдала позиции под натиском мощной волны предпринимательства, ворвавшейся в город вместе с индустриальной эпохой «модерна». Лихорадочный «еврейский» импульс деловой активности сильно повлиял на ментальность коренных киевлян, что отмечал еще Николай Лесков в 1883 г.:

Тут мы, молодыми ребятами, бывало, проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, – кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом, о чем теперь совсем и не слышать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Люди нынешнего банковского периода должны нам простить романтическую чепуху нашего молодого времени.

Любопытно подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать... [ЛЕСКОВ. Гл. 2. С. 135].

Через тридцать пять лет, когда настало время активных действий, и, как заметил Михаил Булгаков, «вышло совершенно наоборот», лишь малая часть этого поколения пошла за «белыми», другая встала на сторону «красных». Дореволюционные знаменитости – те, кто составлял славу Киева и обеспечивал городу процветание, эмигрировали. В их числе и семья Защевых-Ландау. Все всё потеряли, а приобрели то, о чем отнюдь не мечтали и не стремились обладать... Что касается евреев, то время обошлось с ними особенно жестоко. Илья Эренбург – то же урожденный киевлянин, писал в своих знаменитых воспоминаниях «Люди, годы, жизнь»:

В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: «Это – Шолом-Алейхем». Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, я и вздыхал, и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев «Егупцем», и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Егупцем в Бабьем Яру¹⁵... [ЭРЕНБУРГ. Кн. 2. Гл. 9].

¹⁵ Бабий Яр (укр. Бабин Яр) – урочище в северо-западной части Киева. Это место получило всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев (150 тыс. человек), цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлённых немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 г., см. Бабий Яр: URL: <http://www.eleven.co.il/jewish-people-history/holocaust/10370/>.

К началу XX в. Киев стал и важным центром транспортного сообщения Российской империи, контролируя экспорт зерна по железной дороге и по реке Днепр. Некоторые новые технологии в Российской империи впервые внедрялись именно в Киеве: в 1892 г. была запущена первая электрическая трамвайная линия в Российской империи, в 1912 г. построены первый стационарный стадион и первый и единственный в дореволюционной России небоскреб высотой более 60 м¹⁶. Здание возводилось по заказу строительного магната, купца 1-й гильдии Льва Гинзбурга, входившего в десятку самых богатых киевлян. Оно было наиболее современным в Киеве, поскольку имело редкие в то время кованые лифты американской фирмы «Отис». Жилые дома такой высоты, как «небоскрёб Гинзбурга», в начале XX в. существовали лишь в США, Германии, Аргентине и Канаде.

В Киеве работали такие выдающиеся деятели авиации, как пионер в области высшего пилотажа Петр Нестеров и знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский—создатель первых в мире многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец».

Со второй половины XIX в. в городе постепенно развивалась театральная и музыкальная жизнь. С 1870-х годов в Киеве жил и работал композитор Н.В. Лысенко, создатель украинской оперной классики. Киевскую оперный театр – «Русская опера» (открыт в 1867 г.), неоднократно посещал П.И. Чайковский и оставил положительные отзывы как о мастерстве актёров и музыкантов, так и о художественном оформлении спектаклей. В 1890 году композитор сам руководил постановкой в Киеве своей оперы «Пиковая дама». В 1890-е годы была осуществлена постановка «Снегурочки» Н.А. Римского-Корсакова, на которой присутствовал автор, а С.В. Рахманинов выступал в качестве дирижёра на постановке своей оперы «Алеко».

С сезона 1869–1870 гг., когда в Киеве начали гастролировать театры оперетты, этот музыкальный жанр приобрел особую популярность у киевлян. 1901–1912 гг. в Киеве ежегодно бывал петербургский театр С.Н. Новикова «Пассаж», в котором выступали многие звезды российской оперетты. По данным адресного справочника за 1907 год, в Киеве на тот момент существовало семь постоянных театральных сцен – театры Соловцова, Бергонье, два народных дома, «Русская опера», театр в Контра́ктовом доме и «Малый театр» – см. [РИБАКОВ].

Особенно славилось Музыкальное Училище Киевского Отделения Императорского Русского Музыкального Общества, преобразованное в 1913 г. в Киевскую консерваторию, из стен которой вышел величайший пианист XX столетия Владимир Горовиц. В этом учебном заведении работали такие выдающиеся музыканты и педагоги, как Рейнгольд Глиэр, Григорий Беклемишев, Феликс Блюменфельд. Училище было в учебно-образовательной системе Российской империи на редкость либеральным заведением, в него принимались без ограничения «лица обоего пола, всех наций, сословий, вероисповеданий» – см. [ЗИЛЬБЕРМАН].

Проживание в Киеве значительного числа еврейских <...>, учителей, юристов, врачей способствовало развитию интенсивной просветительской деятельности. Киевское отделение Общества для распространения просвещения между евреями в России содержало два еврейских детских сада, образцовый хедер, субботнюю школу для взрослых, библиотеку (около шести с половиной тысяч книг) и другое¹⁷. Вместе с тем в еврейской среде, особенно в ее зажиточных слоях, росла тяга к ассимиляции. Еврейские дети составляли семь-девять процентов от общего числа учеников в нееврейских средних учебных заведениях, в университете в 1911 г. около 17% от общего числа студентов составляли евреи, а в Музыкальном училище число студентов-евреев в отдельные годы превышало 50% – см. [ЗИЛЬБЕРМАН].

И все же в культурном отношении Киев явно уступал не только обеим российским столицам, но и Одессе. Особенно это касалось литературного сообщества. Здесь в 1903–1905 гг. обретался гений идишевской литературы Шолом-Алейхем, но, судя по отсутствию каких-

¹⁶ Это здание было построено по проектам одесских архитекторов А. Минкуса и Ф. Троупянского.

¹⁷ Киев: URL: <http://eleven.co.il/diaspora/communities/12072/>.

либо упоминаний имени этого еврейского писателя в эпистолярной Алданова, его персона гимназиста Марка Ландау ни в каком качестве не интересовала. Из русских литераторов конца XIX начала XX в., получивших всероссийскую известность, в этом городе несколько лет жил только Александр Куприн (1894–1901 гг.). В некрологе «Памяти А.И. Куприна» (1938) Алданов писал:

Не принадлежа к числу самых близких к нему людей, я очень его любил и хорошо знал, – впервые увидел лет тридцать пять тому назад, еще будучи гимназистом [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

Говоря о киевских писателях, нельзя не упомянуть также такого знаменитого уроженца этого города, как Александра Вертинского, который в годы своей молодости (1905–1913) подвизался в Киеве в качестве литератора: он писал театральные рецензии на выступления знаменитостей, публиковал небольшие «декадентские» по духу рассказы в местных газетах: в «Киевской неделе» – «Портрет», «Папиросы Весна», «Моя невеста», в еженедельнике «Лукоморье» – рассказ «Красные бабочки» – см. [СКОРОХОДОВ]. Вертинский был завсегдаем литературно-художественного салона Софьи Зелинской, где собирались такие выдающиеся деятели первого русского авангарда, как художники Александра Экстер, Марк Шагал, Казимир Малевич, Александр Осмеркин, Натан Альтман, поэты Михаил Кузмин, Бенедикт Лифшиц и др. Салон С.Н. Зелинской – единственный в своем роде киевский «культурный очаг», оставивший яркий след в истории русской культуры начала XX в. Но, отметим, молодой Марк Ландау в число птенцов этого гнезда русского модернизма не входил и ни с кем из вышеперечисленных его завсегдаев никогда не поддерживал отношений.

Киеву как «альма-матер» повезло с мыслителями «серебряного века»: здесь родились и жили такие выдающиеся русские философы-персоналисты, как Николай Бердяев и Лев Шестов. С ними Марк Алданов познакомился и поддерживал отношения в 1920-х гг., находясь уже в эмиграции. В одном университете с Алдановым, как он сообщал Василию Маклакову, учился выдающийся русский православный историк Василий Зеньковский:

Книга его об истории русской философии ценна и беспристрастна¹⁸. Он очень ученый человек. Мы с ним когда-то учились в университете, но он был тремя курсами старше меня, а с тех пор я его ни разу не видел. В ту пору он был, как и я, на физико-математическом факультете [...НЕ-СКРЫВ-МНЕНИЯ. С. 41].

Такова в общих чертах физиономия города, в котором появился на свет Марк Ландау, в котором прошли его детство, отрочество и студенческие годы.

У Алданова можно найти характеристики самых разных городов. Порой они сопровождаются сопоставительными размышлениями о России. Например:

Шартр. Маленький прелестный городок. Утром кажется: здесь бы прожить всю жизнь. А в тот же вечер справляешься: нет ли поезда, чтобы сейчас же уехать.

В двух шагах от знаменитого собора – Maison du Saumon¹⁹ – дом XV века. Такие дома во Франции есть везде; у нас, если не ошибаюсь, был только один частный дом, насчитывавший три столетия жизни: обилие лесов в России было несчастьем русского искусства [АЛДАНОВ-СОЧ (VI)].

Сложил Алданов и своего рода хвалебную песню «Мій Київ»:

¹⁸ «История русской философии». В 2-х тт. Париж, YMCA-PRESS, 1948 и 1950.

¹⁹ Maison du Saumon – буквально: Дом лосося (фр.).

Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычаи на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды серебряный, суконный, шелковый, меховой, ковёрный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево <...>. Особенно славились сласти, варенье, пряники.

Киевские купцы признавались иностранцами самыми честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также кацапы, евреи, армяне и греки. Как-то все уживались. <...>.

Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. В домах коренных киевлян можно было услышать иронические словечки о «панах». Приглашая гостей к ломберному столу, хозяин благодушно говорил: «До брони, панове, до брони!..» За игрой люди ставили карбованцы «на алтарж ойчизны» или, признаваясь в опрометчивом ходе, поясняли: «Мондрый поляк по шкодзе». Так и нерасположение к великороссам выражалось преимущественно в разных словечках и поговорках: «С кацапом дружись, а за саблю держись», «От москаля хоть полы обрежь, да беги!», «Коли москаль скаже “сухо”, поднимайсь по самое ухо, бо вин бреше», «Мамо, черт лезе в хату! – Дочка, абы не москаль!.. Да еще иногда пили в память Мазепы. В пору контрактов и это смягчалось <...>. Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. <...> К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив – относились с большим интересом и уважением Позднее патриотические куплеты Ленского: «...Где вам, западные цапли, – до российского орла» в Киеве ничего не вызывали, кроме насмешек над сочинителем.

Перестройке и украшению древнего города способствовали вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», – так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка²⁰. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикскую долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. Прежнее Кловское урочище уже называлось Липками, хотя великолепные липы главной аллеи давно были вырублены. Липки, особенно же Шелковичная, позднее Левашевская, улица, стали аристократической частью города. На Печерске, на Подоле, в Старом городе чуть не на каждых воротах висела дощечка с надписью «К слому», – владельцам разваливавшихся домов отводились бесплатно участки земли за Бессарабкой и у Золотых Ворот. Открывались всё новые магазины, и чтобы никого не отталкивать

²⁰ Алданов умалчивает о том, что ему посчастливилось родиться киевлянином еще и потому, что именно Дмитрий Бибилов в 1843 г. добился у царя разрешения на временное проживание в Киеве (в двух арендуемых евреями подворьях; существовали до 1857 г.) еврейских купцов и ремесленников, для оживления пришедшей к тому времени в упадок экономической жизни города. Начиная с 1860-х гг. и до Второй мировой войны еврейская община Киева непрерывно росла и процветала. В 1919 г. численность евреев составляла 114 524 человек (21% от всего населения), 1939 г. – 224 200 человек (26,5%), в 1959 г. – 153 466 человек (13,8%), в 1989 г. – 100 584 человек (3,9%), а в 2009 г. менее 15 000 человек (ок. 0,5%). – см. ЭЭЭ: URL:<http://eleven.co.il/diaspora/communities/12072/> и URL:<http://bagazhznaniy.ru/history/naselenie-kieva>.

в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de брата Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просяниченко».

Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой боченки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. Деньги тратились очень быстро, особенно вследствие карточной игры. В польском обществе говорили: «Варшава танцует, Краков молится, Львов влюбляется, Вильна охотится, Киев играет в карты». <...>.

Русские <...> спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах. Шел «Ревизор», с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения г. Гоголя. Шли «Роберт-Дьявол», сочинение г. г. Скриба и Делавиня под музыку г. Мейербера, «Кремнев, русский солдат», народное представление с военными песнями и танцами, сочинение г. Русского Инвалида, «Никому кроме короля, или хлебопашец каштанового леса», сочинение г. Дона Франциска де Рохас, «Знаменитые разбойники», большой балет, сочинение г. Дидло. Ставились «Двумужница», «Отелло», «Полковник старых времен», «Матушкина дочка, или суматоха на даче». Труппа была только одна, так что одна и та же любимица публики спасала своим кротким пением мятушуюся душу Роберта-Дьявола, декламировала куплеты «Смирно, женщины» и в венгерской хижине танцевала перед знаменитыми разбойниками. Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помещиков и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, – кричали во время спектакля, когда хорошей девушке грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!»

На ровных параллельных Крещатику улицах Липок тянулись одноэтажные дома, почти все деревянные: лес был очень дешев, да и жить в каменных домах считалось вредным для здоровья. В старом городе были площади больше парижской «Place de la Concorde», прекрасные церкви и монастыри, – некоторые древнее Кёльнского собора. Над Днепром и позади нового университета были лучшие в России бесконечные сады, – киевляне язвительно говорили столичным жителям: «Да-с, это вам не Летний сад и не ваши московские огороды!» Весь необыкновенный по красоте город именно утопал в зелени.

Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, – торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойных слов употребляли, по сравнению с Великороссией, очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и так называемые разночинцы, жил, пожалуй, лучше, чем в столицах. <...> ... в Киеве, во всяком случае, гастрономия была <...> утонченная. Из Одессы привозились устрицы и кефаль. Белугу и стерлядь доставляли с Шексны, так как считалось, что волжская рыба, входя в Шексну, становится гораздо лучше. Порою даже привозилось из Беловежской пуши мясо зубров. Только в напитках Киев еще отставал от столиц. Шампанское, которым завоевал Елизавету Петровну и ее двор маркиз де ла Шетарди, распространялось по России медленно. В Киеве его подавали лишь в самых богатых домах. Пили больше вареный и ставленный мед, наливки, водку всех национальностей: русскую, кизлярку, горилку, пейзаховку. Сами варили пиво и держали его в боченках на дне колодцев. Свои колодцы были во многих домах. В другие же доставляли воду водовозы. Вопреки всем литературным традициям, они не были кривыми, не играли на бандуре и не пели «старинных казацких песен о Наливайко и Сагайдачном».

Гостеприимство было сказочное. За обедом, после какого-нибудь десятого блюда, хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас оби-

дели?» – и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, непейки, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными: уж не шулер ли?

Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из-за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцевали круглый польский, мазурку, французскую кадрили; были записные танцоры, учившиеся у самого Сосницкого: этот знаменитый петербургский актер, поляк по происхождению, считался лучшим танцором в России и давал уроки мазурки. Мылись казанским яичным мылом, а лет за двадцать до того появился и одеколон. По утрам ездили в Минерашки над Днепром и пили там кислые воды. Многие дамы умели падать в обмороки коловратности и Дидоны, давно вышедшие из моды в столицах.

По вечерам на гулянье в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем с золотым шитьем одеянии. На него, как на достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. Один шалый киевский студент, весельчак и силач, держал пари, что на гулянье поцелует эту даму. Пари он выиграл, к большому удовольствию «Безрукого», который очень недолго любил скорбно-таинственного человека. Студенты вообще жили в Киеве весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостиницу, играли на бильярде и в карты, – кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.

Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, – такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все же где-то, почти незаметно, шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, – дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зигфрида-Юстуса I: какой-то немецкий купец из Герлитца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.

Большинство же пятидесятитысячного населения города, вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно если начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей. Охотно жила в нем и великороссы, «Как хорош, как хорош Киев, как я люблю этот город!» – писал позднее Иван Аксаков [*«Повесть о смерти»* АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

Киев слыл так же столицей проституции. В городе насчитывалось более 29 домов терпимости, десятки тайных притонов, замаскированных под мастерские или дешевые «минерашки», где, выпив стакан минеральной воды, можно было поиметь девицу за пятак; пятым в списке самых распространенных заболеваний среди населения был сифилис. Александр Куприн в повести «Яма» (1905 г.) описывает Киев конца XIX – начала XX вв. как «сплошной бордель» – см. [КРАСОВСКАЯ]. Нельзя не отметить, что повышенный «эротический импульс» Киев-града на темпераменте Алданова не сказался. Несмотря на то, что молодой Алданов был весьма хорош собой, его личный интерес к прекрасному полу, по всей видимости, не выходил за границы основной черты его характера – умеренной сдержанности. Современники даже считали его женские образы безжизненно схематичными. Александр Бахрах пишет:

Писательская натура Алданова затрудняла ему выпуклое изображение женских типов. Женскую капризность и переменчивость он внутренне не

чувствовал. Его женщины все по одному шаблону – либо матроны, либо их подрастающие дочери. Он относится к ним с интересом и даже порой с нежностью, но едва ли их понимает и они точно описаны с чьих-то чужих слов [БАХРАХ (II). С. 160].

А вот высказывание на сей счет Василия Яновского, самого язвительного мемуариста эмиграции «первой волны», особенно по отношению к литературным знаменитостям из старшего поколения:

На Монпарнасе <Георгий> Иванов цитировал строчку из нового отрывка Алданова: там его героиня Муся старалась походить на женщину. Алданов, увы, был вне сексуальных тягб²¹. Как многие наши гуманисты, он, однажды обвенчавшись, этим самым разрешил все свои интимные проблемы: ни разу не изменив жене и ни разу не прижив с ней ребенка [«Поля Елисейские» ЯНОВСКИЙ В.].

В «Повести о смерти» Алданов делает особый акцент на том, что даже такому знаменитому французу, как Оноре де Бальзак, нравилось жить в «варварской» – по мнению многих его соплеменников, России. Ему особенно приятно, что великий парижанин восхищался его родным Киевом²²: Бальзак называл его «северным Римом» и, сравнивая этот древний западно-русский город с другими российскими столицами, писал:

Петербург²³ – город-младенец, Москва – взрослый человек, Киев же – старец, чей возраст – вечность [БАЛЬЗАК].

Марк (по метрикам Мордахай-Маркус) был вторым ребенком, родившемся 26 октября/7 ноября 1886 года в интеллигентной и очень состоятельной еврейской семье австро-венгерского подданного Израила (Александра) Моисеевича Ландау и Шифры (Софьи) Ионовны Ландау, урожденной Зайцевой. К моменту рождения у него уже был старший брат Лев (Иосиф-Лейба; 1884 г.р.)²⁴, а впоследствии появились младшие брат – Яков (1889 г.р.) и сестра – Любовь (1893 г.р.). Татьяна Осоргина – последняя жена писателя-эмигранта Михаила Осоргина²⁵, рассказывала²⁶, что подбор достойного жениха для Софьи Ионовны Зайцевой продолжался довольно долго, из-за отсутствия в ближайшем окружении Зайцевых достойного кандидата. В конце концов, Зайцевы выписали из Австро-Венгрии молодого еврея хорошей семьи, сына раввина, чтобы он женился на их дочери, будущей матери Марка Александровича²⁷. Сам Алданов, по понятным причинам²⁸, не очень любил говорить об этом.

²¹ Здесь речь идет о «зрелом» Алданове, человеке, находившемся уже на пороге своего пятидесятилетия.

²² Бальзак посещал Киев в 1847, 1848 и 1850 гг.

²³ С августа по октябрь 1843 г. Бальзак проживал в Ст.-Петербурге. Посещение российской столицы знаменитым французским писателем вызвало новую волну интереса к его произведениям у просвещенной русской публики. В частности, 22-летний инженер-подпоручик Петербургской инженерной команды Федор Достоевский был так восхищен творчеством Бальзака, что решил безотлагательно перевести на русский язык его роман «Евгения Гранде». Первый русский перевод этого знаменитого произведения Бальзака, опубликованный в журнале «Пантеон» в январе 1844 года, одновременно является и первой печатной публикацией Достоевского. – см. [ГРОССМАН Л.].

²⁴ Лев Израилевич Ландау до Революции работал присяжным поверенным в Киеве, участвовал в Белом движении, и после его поражения эмигрировал в Польшу, где выступал в печати как специалист по вопросам экономики. Он скончался в Варшаве в 1929 г. – см. базу данных «Участники Белого движения в России»: URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_11-L.pdf.

²⁵ Осоргина поддерживала дружеские отношения с четой Алдановых-Ландау вплоть до кончины обоих супругов.

²⁶ Частное сообщение Жервезе Тассис.

²⁷ Такой способ «организации» брака был довольно распространен в те времена в привилегированных слоях еврейского общества

²⁸ Подразумевалось нежелание Алданова акцентировать внимание на еврейских корнях его семьи.

Однако в статье «Русские евреи в 70–80-х годах» (1942 г.)²⁹ он все же отметил, что его прадед по отцу был главным раввином Праги (sic!). Без всякого сомнения, Алданов имел в виду Йехезкеле Ландау – видного еврейского общественного деятеля и галахического авторитета XVIII века.

В 1754 г. он был приглашен на один из самых важных постов в руководстве центральноевропейским еврейством – раввина Праги и всей Богемии. Представляя евреев Богемии перед австрийскими властями, Ландау развернул также активную общественную и раввинистическую деятельность. В Праге он возглавлял одну из крупнейших иешив того времени, привлекавшую сотни учащихся из разных стран. Главный труд Ландау «Нода б-Ихуда» (ч. 1 – 1776; ч. 2 – 1811) <...> неоднократно переиздавался с глоссами и комментариями видных ученых позднейших поколений, как и его другие сочинения в области Галахи <...>. Сборник проповедей и надгробных речей Ландау «Ахават Цион» («Любовь к Сиону») вышел в свет в 1827 г.

<...>

Первоначально благосклонное отношение Ландау к Хаскале изменилось под влиянием нападок некоторых ее деятелей на раввинов. Ландау запретил пользоваться Библией на немецком языке <...>, «дабы не стала наша Тора прислужницей и распространительницей среди населения чужой речи» <...>.

Несмотря на это, Ландау не возражал против занятий историей, грамматикой, естественными науками и т.п. <...> ... призывал евреев к укреплению корректных отношений с нееврейской средой и к лояльности по отношению к государству.

Многие галахические решения Ландау отличаются смелостью и терпимостью, свидетельствующими о сознании им своей ответственности перед общиной и умении находить компромисс между постановлениями Галахи и требованиями времени³⁰.

Как пример «иронии судьбы» отметим, что рабби Йехезкель Ландау, чей правнук вошел в либерально ориентированную хасидскую семью Зайцевых, являлся не только противником либерализма в духе Хаскалы, но и зародившегося в середине XVIII в. хасидизма. Вот что об этом пишет сам Алданов:

Известный главный раввин Праги Йехезкл Ландау, прадед³¹ пишущего эти строки, был подлинной крепостью консерватизма. Он был политическим и идеологическим противником либералов, во главе которых стоял тогда Моисей Мендельсон. На похоронах королевы <Мари-Терезии > пражский раввин произнес пламенную монархическую речь. У моего отца в библиотеке находилась письмо канцлера Марии-Терезии, графа Кауница, адресованное этому реакционному раввину. О нём существует обширная, но мало известная литература, к которой я не имел доступа [АЛДАНОВ (I). С. 52].

Спустя семь лет в письме из Ниццы к своему хорошему знакомому Г. Лунцу от 21 июля 1949 года Алданов сообщает о том, что миллионер-меценат из среды русской эмиграции Френк Атран:

Атран <...> по воздушной почте прислал мне статью из «Форвертса» о семье Ландау и заодно обо мне! По моей просьбе, мне ее здесь

²⁹ Эта работа, впервые увидевшая свет в переводе на идиш в нью-йоркской социалистической газете «Форвертс» от 7 июня 1942 года, является единственным такого рода примером (sic!) публичного заявления Алдановым своего исконного иудейства.

³⁰ См. URL: <http://jewishencyclopedia.ru/?mode=article&id=12317&query=>.

³¹ Точнее – прапрадед, см. ниже.

перевел знакомый. Очень мило написано, генеалогическая эрудиция автора замечательная, но у него, видно, есть свободное время [М.А.-ПИСЬМА-НИЦА].

Речь идет о статье известного еврейского публициста и общественника Гершона Света «Потомок пражского гаона р. Йехезкеля Ландау получила в Нью-Йорке литературную премию» в нью-йоркской еврейской «Форвертс» от 2.07.1949 г.³² В статье рассказывается о некоей американской аспирантке по фамилии Ландау, являющейся прямым потомком пражского раввина Йехезкеля Ландау. Молодая женщина-ученый получила престижную премию за работы в области филологии. Одновременно автор приводит обширные сведения о еврейском роде Ландау, давшем миру много талантливых людей. Среди двух десятков носителей этой фамилии – раввинов, врачей, журналистов и т. д., упомянут также и Марк Алданов, как выдающийся русский романист, чьи произведения в переводе на идиш публиковались, в частности, и в «Форвертс». В статье также говорится о прямом родстве Марка Ландау-Алданова с Ионой Зайцевым, причем этот факт подается в связке с «делом Бейлиса».

Как видно из текста письма, восторга по поводу этой публикации Алданов не выказал. С учетом же присущей ему корректности в выражениях, касающихся третьих лиц, фразу «у него, видно, есть свободное время», можно трактовать как показатель глубокого равнодушия писателя к еврейскому контексту, даже в случае, когда его имя в нем упоминается в высшей степени комплиментарно.

Судя же по родословному древу Йехезкеля Ландау³³ и сообщению, полученному из архива Еврейского культурного сообщества Вены (IKG Wien), у знаменитого «Пражского рава» было нескольких сыновей. Один из них – рав Израиль Ландау (1758–1829), живший в Кракове, Львове и Бродах³⁴, имел от второго брака сына – рава Элизара Ландау (1778–1831), а у того, в свою очередь, имелся сын Мозес, родившийся ок. 1815 г. в городе Броды или Кракове и служивший затем раввином в Кракове и Пинске³⁵. Его младший сын Израиль бен Мозес (Израиль Моисеевич) Ландау – правнук «Пражского рава» Йехезкеля, родившийся, по-видимому, где-то в районе 1850 г., вопреки семейной традиции стал не раввином, а предпринимателем. Он перебрался на жительство в Российскую империю, занялся производством сахара на Волыни и женился на Шифре (Софье) Зайцевой, дочери киевского «сахарного магната» Ионы Зайцева. Скончался Израиль Ландау где-то ок. 1903 года, т.е. сравнительно молодым³⁶. В Государственном архиве Киевской области (ДАКО) хранится дело «По ходатайству австрийского подданного еврея Израиля Ландау о принятии его с семейством в подданство России», датированное 1896–1897 гг.³⁷. По-видимому, и это прошение тогда было отклонено, т.к. в архиве имеется дело «По ходатайству австрийского подданного Мордехая-Маркуса Ландау о принятии его в подданство России», датированное 1908–1909 гг.³⁸ с положительным по нему решением. Судя по этим документам, можно полагать, что царское правительство всячески затрудняло получение евреями, даже из состоятельных сословий, гражданства Российской империи. В результате

³² סטרעווערשאַף URL: http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI/?action=tab&tab=bro_wse&pub=FRW#panel=document.

³³ Landau / Jewish Encyclopedia: URL: <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9608-landau#anchor7>; <https://www.deutsche-biographie.de/sfz47652.html#ndbcontent>.

³⁴ URL: <http://badatelna.eu/fond/1073/reprodukcje/?zaznamId=3462&reproId=11068>.

³⁵ URL: <https://www.geni.com/people/R-Elazar-Landau-A-B-D-Sternberg-and-then-Brondy/6000000004959355444>.

³⁶ URL: <http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=19131020&seite=4&zoom=52&query=%22Landau%20Bisrael%22~10&ref=anno-search>; <http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=cdb&datum=19131021&seite=9&zoom=33&query=%22Landau%20Bisrael%22~10&ref=anno-search>; <http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19131020&seite=3&zoom=33&query=%22Landau%20Bisrael%22~10&ref=anno-search>.

³⁷ ДАКО (Киев) ф. 1 оп. 45 д. 24.

³⁸ ДАКО (Киев) ф. 1 оп. 57 д. 170.

некоторой либерализации законодательства после революции 1905–1907 гг. в этом вопросе имели, видимо место, некоторые послабления.

Таким образом, упомянутый выше Марком Алдановым «Известный главный раввин Праги Йехезкл Ландау» приходится ему не *прадедом*, а *прапрадедом* с отцовской стороны. Сам же будущий знаменитый русский писатель и горячий патриот «великой России» по рождению был австрийцем и стал поданным Российской империи уже в зрелом возрасте, будучи 23 лет от роду (*sic!*)³⁹.

Мать же Марка (Мордехая-Маркуса Ландау) – урожденная Софья (Шифра) Ионовна Зайцева являлась дочерью киевского сахарозаводчика купца 1-й гильдии⁴⁰ Ионы Мордковича (Марковича) Зайцева, чье имя увековечено в истории города Киева – см. [КАЛЬНИЦКИЙ]. У Ионы Зайцева и в Киеве было несколько домов. Сам он жил на Александровской улице в доме в № 17, а расположенный на ней же дом № 49 принадлежал его сыну Маркусу со своими детьми. Софья Ландау проживала в старинном киевском районе Липки по адресу Левашевская (ныне Шелковичная ул.) дом 27. Дом этот, также принадлежавший Ионе Зайцеву^{41,42}, скорее всего, достался ей по наследству. Можно с уверенностью полагать, что гимназические и студенческие годы Марка Ландау-Алданова прошли именно в этом доме.

Иона Зайцев был не только миллионером, но и известным филантропом. В 1893 г., например, он основал небольшую бесплатную хирургическую больницу на 7–10 коек в нанятом здании. Это благотворительное учреждение получило название в честь «бракосочетания Их Императорских Величеств (Николая II и Александры Федоровны) 14 ноября 1894 г.», а в 1897 г. выстроил на Кирилловской улице одноэтажное на цокольном полуэтаже каменное здание, в котором расположилась «больница Зайцева». Здесь каждый год проводилось около 400 операций. При больнице действовала также амбулатория, где больные могли бесплатно получить хирургическую, ортопедическую или отоларингологическую консультацию. Главным врачом больницы был знаменитый хирург Григорий Быховский. Хотя больница Зайцева обслуживала, прежде всего, неимущих евреев, кто-либо другой из местной бедноты тоже мог рассчитывать здесь на медпомощь.

В 1899 г. Иона Зайцев приобрел также усадьбу Багреевых с кирпичным заводом⁴³ (там еще продолжались археологические изыскания). Общая площадь его владений под склоном Юрковицы превысила 10 гектаров. Когда почтенный филантроп умер (в 1907 г.), эту недвижимость унаследовал его старший сын Маркус⁴⁴. Он оказался достойным продолжателем отцовского дела. В начале 1911 г. Зайцев-младший начал строительство новой больницы, в которой предполагалось поместить еврейский приют-богательню и небольшую синагогу. Возведением красивого сооружения в стилистике модерна руководил выдающийся киевский зодчий, тогдашний главный городской архитектор Эдуард Брадтман.

³⁹ Интересным историческим совпадением является случай со знаменитым немецко-швейцарским писателем Германом Гессе (Hesse; 1877–1962), лауреатом Нобелевской премии по литературе 1946 г. Его отец, будучи эстляндским немцем из г. Пайде, имел российское подданство, которое автоматически получил и родившийся в Германии его сын. Швейцарское, а затем германское гражданство писатель вслед за отцом получил в четырехлетнем возрасте.

⁴⁰ Купцам I гильдии разрешалась как оптовая, так и розничная торговля любым товаром без ограничения сумм. Они имели право занимать ответственные выборные должности в городском самоуправлении. Для евреев принадлежность к высшей купеческой гильдии давала право проживать вне черты оседлости.

⁴¹ См.: URL:<https://kiev.segodnya.ua/kwheretogo/ulica-shelkovichnaya-v-kieve-goticheskiy-pryanichnyy-i-shokoladnyy-osobnyaki-potustoronniy-mir-i-dom-sovetskih-praviteley-567296.html>.

⁴² См. URL: <http://oldkiev.ho.ua/shelk/shelk.html> и [БЕЧКЕВ].

⁴³ Самым крупным производителем строительного кирпича в Киеве был купец 1-й гильдии Яков Бернер (1837–1914) – совладелец нескольких кирпичных заводов. Значительная часть киевских новостроек начала XX в. была из кирпича, произведенного на его предприятиях. Бернер был гласным Думы, жертвовал на строительство христианских церквей, а после смерти завещал городу 100 тысяч рублей на приют для бедных и хронически больных: URL: [http://www.ejwiki.org/wiki/Киев_\(еврейская_община\)](http://www.ejwiki.org/wiki/Киев_(еврейская_община))

⁴⁴ В списке евреев купцов I гильдии он значится под № 97 как Меер Зайцев [8. С. 13].

Однако через несколько дней после того, как газеты сообщили о закладке богадельни Зайцева, Киев всколыхнула весть о зверском убийстве 13-летнего мальчика по имени Андрей Ющинский. Его мертвое тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в пещере на склоне Юрковицы, неподалеку от усадьбы Зайцева. Непредубежденные следователи быстро выяснили: произошла уголовная расправа. После первых допросов стало известно о дружбе несчастного Андрюши с детьми местных уголовников и о том, что во время детской ссоры у мальчишки вырвались неосторожные высказывания («А я всем расскажу, что у вас в доме воровской притон!»). Но внезапно течение следственного дела уклонилось от этого направления. Обнаружились «свидетели» из среды местной шантрапы, которые указали на причастность к преступлению еврейского обывателя Менахем-Менделя Бейлиса. Тот был служащим кирпичного завода Зайцева и жил в небольшом домике на территории заводской усадьбы.

Зачем ему было убивать мальчика? Обвинители выдвинули две версии: для того, чтобы воспользоваться христианской кровью для приготовления мацы (приближалась иудейская пасха), или чтобы оросить этой же кровью место сооружения будущей синагоги при богадельне. По указанию из Петербурга официальное следствие принялось отрабатывать ритуальную версию «дело Бейлиса» [ТАГЕР], а сам подозреваемый на два года оказался за решеткой. После длительной следственной волокиты осенью 1913 года в Киевском окружном суде (ул. Владимирская, 15) состоялся судебный процесс, на котором Бейлис был оправдан, хотя настоящие убийцы так и остались ненайденными.

Следует отметить, что приговор присяжных оказался половинчатым. Сняв обвинение с Бейлиса, присяжные не согласились с доводами защиты, что убийство вообще не имеет отношения к усадьбе Зайцевых. В их вердикт, с подачи обвинителей, было включено недостоверное и неточно сформулированное указание, что якобы кровавое преступление совершено: «в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведывании купца Марка Ионова Зайцева», – родного дяди, а в будущем тестя Марка Алданова. Это давало косвенную возможность антисемитам говорить о «доказанности» ритуальной версии. Однако, вопреки всем неприятностям, строительство нового здания в филантропическом комплексе Зайцевых было завершено, и с 1912 года богадельня и синагога в его стенах начали действовать.

Обратим внимание на еще один интересный момент, касающийся этого процесса: обвинение настойчиво муссировало бредовую гипотезу о том, что не ортодоксальные иудеи, а именно хасиды⁴⁵, – к этому направлению в иудаизме принадлежал Иона Зайцев (sic!), практикуют ритуальные убийства.

Ко времени начала «процесса Бейлиса» и в те годы, что он длился, Марк Алданов пребывал за границей, где продолжал свое образование. По этой причине он не являлся очевидцем ожесточенных публицистических баталий на тему «о пролитии евреями христианской крови в ритуальных целях», развернувшихся в русском обществе. Но не вызывает сомнения, что они не прошли мимо его внимания и оставили в его душе неизгладимый след.

Теперь еще раз обратим внимание на интересный биографический факт, доселе остававшийся вне поля зрения алдановедов: Марк Алданов, хотя и родился в Киеве, вплоть до 1910 г. являлся подданным Австро-Венгерской монархии. Если принять за конец Российской империи момент провозглашения Российской Советской Республики (РСР) – 25.10 (7.11) 1917 г.⁴⁶, то в российском подданстве Марк Ландау-Алданов находился всего-навсего не полных 8 лет!

⁴⁵ Имеются в виду приверженцы хасидизма – (חסידות, хасидут), широко распространенное религиозное движение, возникшее в восточноевропейском иудаизме во второй четверти 18 в. и существующее поныне, см. URL: <http://jewishencyclopedia.ru/?mode=article&id=14462&query=>.

⁴⁶ С 19 июля 1918 года РСР официально именовалась как Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), а с 30 декабря 1922 года как Союз Советских Социалистических республик (СССР). Российская империя просуществовала 196 лет (22.10/2.11 1721–25.10/7.11 1917), Советская – 74 года (25.10/7.11 1917–25.12 1991).

Тем не менее, именно Россия была для него «землей обетованной». В письме к Л.Е. Габриловичу от 26 февраля 1952 года он говорит, что в мечтах не прочь был бы посетить родимые места:

Я по крови не русский, но думаю, что если б я еще раз мог увидеть Россию, особенно Петербург и Киев (где я родился и провел детство), – то это удлинит бы мою жизнь – говорю это без малейшей рисовки... [ЧЕРНЫШЕВ А. (II)].

Но эти мечты так и остались мечтами.

Итак, по материнской линии⁴⁷ Марк Алданов – отпрыск просвещенной династии украинских евреев-промышленников, исповедовавших хасидизм и свято блюдуших талмудическую заповедь о том, что «благотворительность (*цдака*) по своей важности равна всем остальным заветам вместе взятым»⁴⁸. При всем этом Иона Зайцев, несомненно, был человеком из числа тех, кого в еврейской среде того времени называли «маскилим» («просвещенные»), т.е. поборником светского просвещения и интеграции евреев при условии сохранения ими своих национально-религиозных особенностей. Маскилим в еврейской среде появились с возникновением в Западной Европе XVIII столетия идейно-просветительского, культурного и общественного движения «Хаскала», сторонники которого под влиянием идей эпохи Просвещения:

Стремясь к изменению отношений между евреями и неевреями путем искоренения традиционной еврейской обособленности от нееврейской среды и приобщения евреев к «общечеловеческим» ценностям, *маскилим* настаивали на введении обучения евреев светским наукам, на изучении евреями языков тех государств, в которых они жили, на развитии у них стремления к гражданскому равноправию и одновременно гражданской лояльности, на изменении их внешнего облика и поведения, включая ношение европейской одежды усвоение европейского этикета, на изменении характера экономической деятельности евреев в направлении ее продуктивизации, чтобы по своей социальной принадлежности они ничем не отличались от населения тех стран, в которых они проживают.

<...>

В светской сфере Хаскала повлекла за собой не только широкую языковую и культурную ассимиляцию европейского еврейства, но и возникновение новой литературы на иврите и идеологических течений национального характера – гебраизма (движения за возрождение языка иврит), идишизма (как выражения секулярного национализма) и политического сионизма⁴⁹.

В Западной Европе Хаскала, в конечном итоге, привела к полной культурно-языковой ассимиляции подпавших под нее евреев, которые, согласившись считаться *немцами* или *французами* «Моисеева закона», таким образом, практически утратили свою этническую идентичность.

В Российской империи, которую населяло более 200 народностей и этнических групп (sic!), евреи, в отличие от их западноевропейских собратьев, в конце XIX в. составляли отдельный этнос, причем весьма крупный – 5, 250 млн. человек – см. [БУДНИЦКИЙ (I). С. 14]. В своем абсолютном большинстве евреи на территории империи изъяснялись между собой

⁴⁷ Софья (Шифра) Ландау вместе с младшими детьми – Любовью и Яковом, то же бежала из Советской России во Францию. Она закончила свои дни в Париже в 1940 г. – см. [РЗвФ-БИОСЛ].

⁴⁸ Вавилонский талмуд, трактат «Бава Батра. 9 а», см. URL: <http://jewishencyclopedia.ru/article/10646>.

⁴⁹ Хаскала: URL: <http://jewishencyclopedia.ru/?mode=article&id=11073&query=>.

на идиш, религиозно образованные представители еврейства, главным образом мужчины, владели также и ивритом. Идиш был живым литературным языком, а переводы на русский язык произведений еврейских писателей делали их имена известными русскому читателю – см. [УРАЛЬСКИЙ М. (III). С. 236 – 343]. С ростом национального самосознания и просионистских настроений активизировался интерес еврейской интеллигенции к изучению иврита и созданию литературных произведений на этом языке.

Однако и в среде восточноевропейского еврейства шел интенсивный процесс расслоения на почве национальной самоидентификации, запущенный Хаскалой. Коснулся он, естественно, и России – в эпоху царствования императора-«освободителя» Александра II, которого и в личном плане – как человека и венценосца, и как государственного деятеля, стремившегося к преобразованию российского общества в духе западноевропейского либерализма, Алданов оценивал по самой высшей шкале (см. его роман «Истоки»).

Касаясь редкой в его публицистике еврейской темы, Марк Алданов в *историческом этюде* «Русские евреи в 70-х – 80-х годах» писал:

Будет вполне естественно, если будущее историографы русской интеллигенции, как дружеские расположенные к евреям, так и антисемиты, начнут новую главу ее истории, с тех лет, когда евреи стали приобщаться к русской культуре, так как роль евреев в культурной и политической русской жизни в течение последнего столетия была очень велика. Главу эту следует начинать с конца 70-х и начала 80-х годов минувшего века.

<...>

Александр II не был антисемитом. Можно, пожалуй, при желании даже сказать, что он был расположен к евреям, особенно в первую половину своего царствования. В законах о судебной реформе, осуществленной в 1864 г., не имеется нигде каких-либо ограничений для евреев. В училища и гимназии евреи принимались на равных правах с другими учащимися. Евреи имели право держать экзамены и получать офицерские чины. Они также могли получать дворянское звание и нередко получали его. Получив чин действительного статского советника или тайного советника, орден св. Владимира или первую степень какого-нибудь другого ордена, еврей становился дворянином.

Несправедливости для евреев были связаны с отбыванием воинской службы. Немногим известно, что при Николае I евреев-солдат было пропорционально больше в отношении численности еврейского населения, чем солдат-христиан, так как при рекрутском наборе евреи обязывались поставлять 10 солдат на тысячу, а христиане – только 7. Этим объясняется, что в войнах 1828, 1830 и 1854–55 годов принимало участие очень много евреев. Но с введением всеобщей воинской повинности эта несправедливость отпала. Почти все позднейшие ограничения евреев были проведены уже в царствование Александра III.

...в эпоху Александра II вся богатая еврейская буржуазия была совершенно лояльно настроена по отношению к монархии. Именно в это время создались крупные состояния Гинзбурга, Поляковых, Бродских, Зайцевых, Болоховских, Ашкенази. <...> В начале царствования Александра II откупщик Евзель Гинцбург основал в Петербурге свой банк, который вскоре занял в столице первое место в банковской сфере <...>. Владелец нового банка стал гессенским консулом в Петербурге, и он оказал немало услуг гессенскому великому герцогу в Дармштадте. За это Гинцбурги получили в 1871 г. от великого герцогства баронский титул. Супруга Александра II была сестрой

великого герцога гессенского, и Александр II, который никогда ни в чем не отказывал своим бедным немецким родичам, <...> по просьбе великого герцога <...> он утвердил баронский титул Гинцбургов и в пределах России.

<...>

Дом барона Горация Гинцбурга, второго члена баронской династии, посещали выдающиеся представители русской интеллигенции: Тургенев, Гончаров, Салтыков, братья Рубинштейны, Спасович, Стасов⁵⁰. Гораций Гинцбург поддерживал добрые отношения с высшей аристократией и даже некоторыми членами царствующего дома, особенно с принцем Ольденбургским⁵¹.

Почти в то же время другой еврей, Самуил Поляков, приступил к сооружению железных дорог. Он построил 6 железнодорожных линий. В последние годы три брата Поляковы стали потомственными дворянами и тайными советниками. И Гинцбург, и Поляковы <и другие еврейские миллионеры⁵² – М.У.> жертвовали крупные суммы на различные учреждения и на благотворительность. <...> эти евреи искренне любили царя и горько плакали, когда первого марта он был убит.

Как бы странно это ни звучало, но так же были настроены и многие бедные евреи, которые не пользовались никаким почетом, не получали ни титулов, ни медалей.

<...>

...думаю, что и евреи-революционеры в ту пору не испытывали к Александру II той ненависти, которую испытывали к нему некоторые русские террористы-дворяне, как Герман Лопатин, Екатерина Брешковская или Вера Фигнер. <...> ...революционеры, вышедшие из народных низов, сохранили в глубине своей души память о том, что всё же Александр II освободил крестьян от рабства, – в то время, как для русских дворян царевубийство было в какой-то мере «традицией» (вспомним судьбу Петра Третьего и Павла Первого) ...несколько евреев, принимавших участие в покушении на жизнь Александра II, сочли нужным подчеркивать, что в мировоззрение доминировал социалистический, а не революционный и террористический элемент.

<...>

По-видимому, у многих революционеров-евреев было на первом плане стремление к социальной справедливости, укрепившись в них от сознания, в каких тяжких экономических условиях находилась в России преобладающая часть еврейского населения.

<...>

Экономическое положение еврейских народных масс при Александре II было ужасно. Но, по-видимому, евреи обладают двумя <исторически, в течение долгой жизни в рассеянии – М.У.>, сложившимися характерными особенностями: стремлением к социальной справедливости и чувством

⁵⁰ В 1863 г. Гораций участвовал в создании Общества по распространению просвещения среди евреев, в 1878 году стал его председателем.

⁵¹ Имеется в виду принц Пётр Георгиевич Ольденбургский (1812–1881), Его Императорское Высочество (1845), российский военный и государственный деятель, член российского Императорского Дома, внук Павла I.

⁵² Израиль Бродский основал в Киеве еврейскую больницу – ныне областную, финансировал строительство Киевского политехнического института, строительство Бактериологического института на Батьевой горе, а также крытого рынка на Бессарабке. Бродские возвели в Киеве две синагоги, приют, две Талмуд-Торы и другие объекты.

благодарности, – или, по меньшей мере, отсутствием слишком острой враждебности к тем властителям, которые проявляют к ним доброту или просто терпимость [АЛДАНОВ (I) С. 49–51].

Нельзя не отметить, что будучи «западником», Алданов, тем не менее, резко критически оценивал некоторые высказывания русских «западников» XIX столетия:

В самое лучшее, вероятно, время всей русской истории, в царствование Александра Второго, в пору истинно необыкновенного расцвета русской культуры, что многие знаменитые европейцы признавали и восторгались – какие цитаты можно было бы привести, цитаты в русскую историю и не попавшие! – Но такой умный и образованный человек, как Кавелин, вдобавок весьма умеренный по взглядам, писал такие письма, которые могли бы очень пригодиться Альфреду Розенбергу. «А что такое вообще Москва? Боже великий! Бухара и Самарканд – более, кажется, европейские города!» Несколько позднее он столь же компетентно высказался и о русской культуре вообще: «Кругом все валится. Нет явления, производящего сенсацию, которое бы не свидетельствовало о преждевременном растлении, о гнилом брожении, которому не видать ни конца, ни края. За что ни возьмись – все рассыпается под руками в гниль... Музыка российская в новых произведениях, по моему мнению, есть последнее слово отрицания музыки. О литературе и не говорю: ее нет; только Салтыков (Щедрин) составляет блистательное исключение: этот растет не по дням, а по часам как обличитель пошлости и навоза, в которых мы загрязли по уши, пребывая в нем даже с каким-то Wohlbehagen⁵³. Я часто спрашиваю себя, да уж не внаправду ли мы туранцы⁵⁴ <...>? Что ж в нас европейского? Азия, как есть Азия».

Это было сказано в пору Толстого, Достоевского, Тургенева, «<Могучей> кучки⁵⁵», Чайковского [АЛДАНОВ (VI)].

Особенностью алдановского «западничества» было *категорическое неприятие* любых уничижительных коннотаций в отношении русской культуры, когда речь шла об общеевропейском культурном космосе. Однако в отношении политического устройства Российской империи он, будучи либеральным демократом, всегда придерживался жестко критической линии. Так, например, по мнению Алданова политика государственного антисемитизма, проводившаяся русским правительством после убийства Александре II, полностью дискредитировала власть в глазах всех слоев многомиллионного еврейского сообщества.

При Александре III начались погромы, издавались антисемитские законы и вводились правовые ограничения против евреев⁵⁶. Эта полоса вызвала всеобщее разочарование и среди представителей еврейской буржуазии, и среди привилегированных элементов. Часть их пыталась, правда, без большого

⁵³ Wohlbehagen – нем. удовольствие.

⁵⁴ Туранцы – народы, населяющие среднюю Азию.

⁵⁵ «Могучая кучка» – творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев (1837–1910), Модест Петрович Мусоргский (1839–1881), Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) и Цезарь Антонович Кюи (1835–1918). Идейным вдохновителем и основным консультантом кружка был художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов (1824–1906).

⁵⁶ В 1882 г. были утверждены «Временные правила», запрещавшие селиться евреям вне черты оседлости, вновь селиться в деревнях, приобретать недвижимость, арендовать землю вне местечек, торговать по воскресеньям и в христианские праздники. Вводились запреты на профессию. Почти полностью были вытеснены евреи с государственной службы, военный министр ограничил долю евреев-врачей и фельдшеров в армии пятью процентами, был закрыт доступ на работу на железнодорожном транспорте.

успеха, сохранить свои верноподданнические позиции. <...> Однако, <что> было <...> возможно и естественно <...> при Александре II, <...> стало просто смешным при его приемнике. Привязанность к Александру III даже еврейских магнатов выглядела бы «односторонней», без малейшей встречной приязни. Об отношении к режиму со стороны еврейской интеллигенции и говорить нечего. Следы этого жестокого разочарования можно легко обнаружить у еврейских писателей того времени [АЛДАНОВ (I) С. 53].

Несмотря на «жестокое разочарование», которое подталкивало радикально настроенные группы еврейской молодежи к участию в антиправительственной революционной деятельности, процессы аккультурации евреев не замедлялись, а напротив, набирали все большие и большие обороты. В результате этого:

Разрыв между <передовым отрядом> российского еврейства, все более интегрировавшимся в русское общество, и основной массой их единоверцев все более увеличивался. Они постепенно даже начинали говорить <на разных языках> в прямом смысле этого слова.

В 1897 г. 5 054 300 (96,90%) российских евреев назвали жаргон, т. е. идиш, родным языком. Далее шли русский язык – 67 063 (1,28%), польский – 47 060 (0,90%) и немецкий – 22 782 (0,44%). При этом по-русски умели читать <несколько менее половины (45%) взрослых евреев мужского пола> и четверть женского. По знанию <русской грамоты> евреи занимали одно из первых мест среди народов России; они отставали от немцев, но опережали русских.

<...>

Дети еврейской элиты ходили в русские гимназии, учились в русских университетах, постепенно они становились людьми русской культуры. Не для всех это означало разрыв с еврейством. Так, <близкий по жизни Алданову> Алексей Гольденвейзер, сын известного киевского адвоката А. С. Гольденвейзера, учился в престижной Киевской Первой гимназии вместе с будущим профессором богословия В.Н. Ильиным, сыном философа и публициста кн. Е.Н. Трубецкого – Сергеем и будущим министром иностранных дел петлюровского правительства А.Я. Шульгиным. Впоследствии, став, как и его отец, адвокатом, Гольденвейзер-младший принимал активное участие в <еврейской политике> в Киеве; он, конечно, понимал язык еврейской <улицы>, но, по его собственному признанию, идиш был для него <малознакомым> языком [БУДНИЦКИЙ (I). С. 2–43].

Среди шести урожденных киевлян-писателей, вошедших в «золотой фонд» русской литературы XX в., – Михаил Булгаков, Максимилиан Волошин и Константин Паустовский, трое – Марк Алданов, Бенедикт Лифшиц и Илья Эренбург имели еврейское происхождение. Однако никто из них никакого отношения к еврейству, кроме «корней», не имел. Лифшиц и Эренбург по сугубо «духовным» соображениям крестились, Алданов, хотя от религии дистанцировался, тем не менее, похоронен был в Ницце не на еврейском, а на общем муниципальном кладбище.

Типичным примером *аккультурации и ассимиляции* является и семья Ионы Зайцева. Все его внуки, правнуки и правнучки лишь происходили «из евреев», но душой и сердцем полностью были связаны с русской и европейской литературой и русской и западноевропейской культурной традицией. Ни писатель Марк Алданов, ни его родная сестра писатель Любовь Полонская, ни его жена переводчица Татьяна Зайцева-Ландау (Алданова), приходившаяся ему кузиной, ни другая кузина, сестра жены Вера Зайцева-Хаскелл, ни племянница – поэтесса Гизелла Лахман, ни племянник – поэт и переводчик Рауль Робиненсон, ни другие потомки

Ионы Зайцева, заявившие себя на сцене европейской культуры, ни в какой степени не имели отношения к еврейской среде и духовности.

Генеалогическое древо Марка Алданова в той его части, что идет по материнской «зайцевской» линии, являет собой интереснейшую картину, из которой явствует, что Марк Алданов состоит в различных (по отдаленности) степенях родства с целым рядом крупнейших филологов и литературоведов XX столетия. Двоюродным братом Алданова является Яков Малкиель – знаменитый американский этимолог и филолог, специалист по романским языкам, троюродными братьями которого – по отцовской линии, были знаменитые филологи и историки литературы Юрий Николаевич Тынянов и академик Виктор Максимович Жирмунский. Примечательно также, что Юрий Тынянов является одновременно и видным историческим романистом, писавшим, в частности, как и Алданов, и примерно в то же время об эпохе царствования Павла I (повесть «Подпоручик Киж», 1927 г., «Восковая персона», 1931 г.). Неизвестно, знал ли Алданов о своем далеком родстве с Ю. Н. Тыняновым, но отзывался он о нем – советском, а значит не свободном «от системы "заданий"» художнике (sic!) – с большим уважением, и в первую очередь именно как об историческом романисте.

В исторических его вещах нет ни пресмыкательства, ни желания угодить начальству.

Кроме того, он ученый человек и добросовестный исследователь: он хорошо изучил ту эпоху и тех людей, о которых пишет. <...> Его исторические персонажи выписаны чрезвычайно тщательно, точно, иногда очень тонко, но это все-таки не живые люди. <...> Со всем тем и он, бесспорно, даровитый человек <...>. Вполне возможно, что из него выйдет большой писатель. Я очень этого желаю, но не очень в это верю [АЛДАНОВ (II) С. 178].

Выстраивая цепочку знаменитостей-гуманитариев по «зайцевской» линии, нельзя не упомянуть имя Френсиса Джеймса Герберта Хаскелла (Haskell), выдающегося английского ученого в области истории искусства Нового времени, профессора Оксфордского университета – см. [GRIENER]. Он приходился Алданову двоюродным племянником, т.к. был сыном его кузины Веры Хаскелл и соответственно родным племянником жены.

Двоюродным братом Алданова является Мануэль Зайцев (Saitzew) – внук Ионы Зайцева от младшего сына Моисея, известный швейцарский ученый-экономист, профессор Цюрихского университета, специализировавшийся в области управления и организации железнодорожного транспорта⁵⁷.

От природы Марк Алданов обладал исключительной способностью к иностранным языкам: владел французским, немецким и английским, отлично знал – это особо отмечено в его гимназическом аттестате, латинский и древнегреческий. А вот родного ему еврейского языка Алданов, как ни странно, совсем не знал. Об этом он писал 15 июля 1950 года своему знакомому А.И. Погребецкому, предложившему ему посетить Израиль с курсом лекций:

Нисколько бы не отказался бы и от лекций, но на каком же языке? Ведь я, к сожалению, еврейского языка не знаю [Инт... К ВАМ. С. 248].

То, что полиглот Алданов не знал идиш указывает на исключительно высокую степень ассимиляции его ближайшего окружения. Ну, а незнание им иврита, свидетельствует об отсутствии у него даже начального еврейского религиозного образования, которое в традиционных

⁵⁷ В 1882 г. были утверждены «Временные правила», запрещавшие селиться евреям вне черты оседлости, вновь селиться в деревнях, приобретать недвижимость, арендовать землю вне местечек, торговать по воскресеньям и в христианские праздники. Вводились запреты на профессию. Почти полностью были вытеснены евреи с государственной службы, военный министр ограничил долю евреев-врачей и фельдшеров в армии пятью процентами, был закрыт доступ на работу на железнодорожном транспорте.

еврейских семьях было обязательным для мальчиков. В противном случае, имея вкус и способности к изучению иностранных языков, он, несомненно, в детстве выучил бы эти языки.

Из всего этого явствует, что Марк Ландау (Алданов) рос и воспитывался в сугубо русской атмосфере, а посему всегда и во всем искренне ощущал себя русским человеком. Эта, без натяжек и оговорок, жизненная позиция никогда им не манифестировалась в форме нарочитого ура-патриотизма, но она недвусмысленно прочитывается из высказываний в его частной переписке и литературных произведениях:

Он очень любил Россию – той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев⁵⁸.

Для представителей его поколения – полностью ассимилированных в русской среде выходцев из богатых еврейских семейств Ст.-Петербурга, Киева, Одессы..., такого рода «русскоцентризм» был явлением типичным. Ассимилированные еврейские интеллектуалы испытывали восторженно-прозелитское, зачастую умиленное чувство любви ко всему русскому. Их разговорный и литературный язык нередко демонстрировал навязчивую любовь к «истинно-русским» оборотам речи и поговоркам. Такова, например, речевая стилистика культурного преуспевающего еврея-адвоката Семена Исидоровича Кременецкого – героя романов Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера». Этот персонаж, по словам В. Набокова, «родился и жил в воображении одного только Алданова», но при этом оказался столь ему удавшимся с точки зрения «типичности», что современники упорно искали его прототип в своей среде – см. [БУДНПОЛЯН. С. 364].

Неприязнь к подобного рода самовыражению со стороны Алданова и ему подобных интеллектуалов подогревалась еще и тем, что слащаво-умиленное любование «исконно-посконным» являлось тогда, как, впрочем, и ныне, своего рода маркером черносотенного консерватизма, носители которого упорно отстаивали изжившую к тому времени себя концепцию «официальной народности»⁵⁹. Основной же настрой русского интеллигентского сообщества в целом, особенно литераторов, был в начале XX в. выражено «западническим». Модернистские течения в русской культуре – так называемые «декаденты» и выступавшие с позиций мистически окрашенного провиденциализма символизма, отнюдь не тяготели к «корням» – см., например, [ДОЛИН]. В их представлении это была тема реалистов, которые, по определению Константина Бальмонта, «всегда являются простыми наблюдателями»:

Реалисты схвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, – символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь – из окна. <...>.

Две различные манеры художественного восприятия, о которых я говорю, зависят всегда от индивидуальных свойств того или другого писателя, и лишь иногда внешние обстоятельства исторической обстановки соответствуют тому, что одна или другая манера делается господствующей.

<...>

В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как простые наблюдатели, подчиняясь вещественной его основе, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют

⁵⁸ Алданов Марк. Девятое термидора, цитируется по: URL: <https://www.litmir.me/br/?b=1118&p=4>.

⁵⁹ В её основе лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу, сформулированные в эпоху правления императора Николая I. Как антитезис девизу Великой французской революции «Свобода, равенство, братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité), предлагалась триада «Православие, Самодержавие, Народность». «Триада Уварова» – министра народного просвещения в правительстве Николая I, являлась идеологическим обоснованием царской политики начала 1830-х годов, а в дальнейшем служила своеобразным знаменем для консолидации политических сил, выступающих за самобытный путь исторического развития России [ВОРТМАН. С. 233–244].

над миром и проникают в его мистерии. Создание поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью и с томьющей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны дуновениями, идущими из области «запредельного» и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами Вселенной. Поэты-реалисты дают нам нередко драгоценные сокровища – такого рода, что, получив их, мы удовлетворены – и нечто исчерпано.

<...>

Я сказал бы также, что декадент, в истинном смысле этого слова, есть утонченный художник, гибнущий в силу своей утонченности. Как то называет самое слово, декаденты являются представителями эпохи упадка. Это люди, которые мыслят и чувствуют на рубеже двух периодов, одного законченного, другого еще не народившегося.

Они видят, что вечерняя заря догорела, но рассвет еще спит где-то за гранью горизонта; оттого песни декадентов – песни сумерек и ночи. Они развенчивают все старое, потому что оно потеряло душу и сделалось безжизненной схемой. Но, предчувствуя новое, они, сами выросшие на старом, не в силах увидеть это новое воочию, – потому в их настроении, рядом с самыми восторженными вспышками, так много самой больной тоски [БАЛЬМОНТ].

Со своей стороны, реалисты – в первую очередь представители *натуральной школы* (критического реализма), уже со второй половины XIX в. – Салтыков-Щедрин, Николай Добролюбов, Дмитрий Минаев, Лев Толстой и др. – выступали с очень жесткими и нелицеприятными обличениями традиционных устоев русской жизни, русского характера и народа в частности. В начале XX в. подобного рода критика на русской культурной сцене звучала повсеместно: Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Куприн, Иван Бунин, Скиталец, Семен Юшкевич, Евгений Чириков и др.

Все культурные слои русского общества жаждали коренной европеизации страны. Поэтому общим для тогдашних вольнодумцев-интеллектуалов, как русского, так и еврейского происхождения, являлась враждебность, проявляемая по отношению к царскому двору и особенно царскому правительству, непреклонно стоявших на ретроградско-охранительских позициях.

Русская интеллигенция была инструментом разрушения «массового сознания». *Интеллигент* прежде всего был врагом царской автократии и всего ею созданного. Его враждебность могла принимать и действительно принимала различные формы, но она присутствовала всегда, и это было той самой базовой характерной особенностью, которая ставила интеллигенцию вне всех прочих слоев российского общества. Можно сказать, что интеллигенция была не столько классом, сколько состоянием ума и духа [УСПЕНСКИЙ Б.].

По этой причине в царствование Николая II:

... Двор Его Величества и русское литературное сообщество в целом являли собой два враждебных лагеря. Лев Толстой – величайший русский писатель и моральный авторитет мирового уровня, в своем личном послании Николаю II (1902 г.) нелицеприятно, руководствуясь, по его словам, «только желание» блага русскому народу и Императору», писал:

«Любезный брат! Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку – брату. Кроме того, еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. <...> Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним».

Запанибратская форма обращения к Государю, как и поучительно-наставительный тон письма со стороны российского подданного в эпоху «Золотого века» русской литературы, когда Пушкин и Жуковский принимались при Дворе и удостоивались высочайшей милости – личного общения с Государем, звучали бы как что-то немыслимо дикое и в высшей степени неучтивое. Но в <начале XX в.> сакральный ореол Государя уступил место галерее уничижительных карикатур на Самодержца всея Руси и самодержавие как принцип властвования. С самого начала царствования Николая II отношения между Двором Его Величества и русским литературным сообществом в целом, являлись, мягко говоря, неприязненными [УРАЛЬСКИЙ М. (III). С. 165].

Однако вернемся к юному Марку Ландау. С большой долей уверенности можно полагать, что его родители были людьми европейски образованными и не религиозными. Поэтому, будучи ребенком, Марк Ландау в хедере не учился, а по достижении 10-летнего возраста поступил в Пятую киевскую классическую гимназию, открытую в самый год его рождения. У киевских обывателей гимназия именовалась не иначе как «Печерской», по месту своего расположения на Печерске – в уютно прислоненной к Киево-Печерской Лавре и городской крепости части старого города. В 1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина на средства преподавателей и учеников – в их числе и Марка Ландау, перед гимназией был установлен небольшой бюст поэта. Николай Бердяев вспоминал:

Атмосфера Печерска была особая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром <...>.

Вместе с тем Печерск был военной крепостью, там было много военных.

Это старая военно-монашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации.

<...>

К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами.

<...> Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия.

<...>

В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой [БЕРДЯЕВ. (I). С. 3].

В контексте последнего замечания философа отметим, что писатель Марк Алданов – единственная европейская знаменитость, которая вышла из стен Киево-Печерской гимназии!⁶⁰

Об атмосфере в киевских гимназиях по линии «русские – евреи», которая царила в пред-революционные годы, дает представление автобиографическая зарисовка Константина Паустовского⁶¹, выпускника старейшей (основана в 1809 г.) и наиболее престижной в Киеве Первой классической гимназии⁶²:

О евреях в гимназии.

Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать.

На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.

Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета.

Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек [ПАУСТОВСКИЙ].

Марк Ландау, несомненно, рос в атмосфере любви и заботливого внимания со стороны взрослых. По всей видимости, не было у него серьезных конфликтов и со сверстниками-гимназистами. Однако никого из своих товарищей по Печерской гимназии Алданов никогда не вспоминал и ни с кем из них, судя по адресатам его обширнейшей переписки, отношений в дальнейшем не поддерживал.

В детстве и отрочестве Марк был, что называется, «спокойный ребенок» – не склонный к проказам и резким эмоциональным взрывам, усидчивый мальчик. Проявлял не только прилежание, но и острый интерес к учению. Был заядлым книголюбом и, обладая прекрасной памятью, рано научился не только подмечать, но и упорядочивать полученную информацию, надежно припрятывая ее на будущее. Эти качества его личности прочитываются из характеристики в аттестате зрелости, который был дан

ЛАНДАУ МОРДЕХАЮ-МАРКУСУ, иудейского вероисповедания сыну купца, родившемуся 26-го октября тысяча восемьсот восемьдесят шестого года, обучавшемуся семь лет в Киево-Печерской Гимназии и пробывшему один год в VIII классе, <отмечается>, что на основании наблюдений его за все время обучения в Киево-Печерской Гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также исполнении письменных работ отличная, прилежание отличное и любознательность ко всем вообще предметам отличная. <...> он обнаружил нижеследующие познания:

⁶⁰ В этой гимназии с 1915 г. несколько лет проучился так же всемирно известный советский кинорежиссер Григорий Козинцев.

⁶¹ К. Паустовский был одним из немногих советских писателей, о которых и Алданов, и Бунин отзывались уважительно.

⁶² Здесь, помимо К. Паустовского, учились такие знаменитости, как будущий советский Нарком просвещения А.В. Луначарский, историк древнего мира академик М. И. Ростовцев, писатель М.А. Булгаков, биолог и генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, авиаконструктор Игорь Сикорский, историк академик Е.В. Тарле, будущий министр иностранных дел Временного правительства М.И. Терещенко.

<Отметки по всем предметам – «отличные»>

Во внимание к постоянно отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же к математике и физике, педагогический совет Киево-Печерской Гимназии постановил наградить его золотой медалью и выдать ему аттестат, предоставляющий ему все права, обозначенные в §§ 129–132 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 30 июля 1871 года Устава гимназий и прогимназий. г. Киев Июня 3 дня 1904 года.

Окончив в июне 1904 году с золотой медалью гимназию, Марк Ландау в том же году был зачислен на физико-математический факультет киевского Императорского университета Святого Владимира. Здесь на юридическом факультете уже учился его старший брат Лев (Иосиф-Лейба) Ландау, тоже, судя по хранящимся в ДАКО документам из его личного дела, выпускник Киево-Печерский гимназии⁶³.

В начале XX столетия Киевский университет ничем особо среди российских университетов прославлен не был – ни в части профессорско-преподавательского состава [БИОГР-СЛ-Ун], ни громкими именами его выпускников⁶⁴. Ректоры Николай Бобрецкий (профессор зоологии, 1903–1905) и Николай Цитович (профессор экономики, 1905–1917), на время каденции которых приходятся студенческие годы Марка Ландау либеральными взглядами, которые превалировали в профессорской среде столичных университетов, не отличались и проводили в своем учебном заведении политику в духе официального консерватизма.

К 1905 году

...в связи с начавшимся повсюду общественным движением, волнения в академической жизни значительно усилились. Во многих городах (например, в Петербурге, Москве, Варшаве) преимущественно учащимися стали устраиваться уличные демонстрации. Московский университет в постановлении совета (14 декабря 1904 г.) заявил, что причина студенческих волнений – в общем недовольстве, которое коренится в отсутствии твердого и прочного правопорядка. Еще полнее и определеннее эта мысль была развита в известной «Записке о нуждах просвещения» 342 деятелей ученых и высших учебных заведений («Право», 1905, январь, № 3). В ней говорилось, что высшие школы выйдут из теперешнего крайнего расстройств только тогда, когда произойдет «полное и коренное преобразование существующего порядка» (государственного) и университетам будет предоставлена автономия. После события 9 января 1905 г. на сходках (в конце января и начале февраля) во всех высших учебных заведениях было постановлено прекратить учебные занятия до сентября месяца и требовать коренных реформ в государственном строе. Университеты один за другим были временно закрыты [ЭнциСлов-БрЕ. Доп. т. Па. С. 798–800].

Киевские профессора внушали студентам мысль о «нейтрализации науки», о настоятельной необходимости изъять политику из У<ниверситета>, чтобы этим «спасти страну от надвигающегося одичания». <...> ...профессора во имя культуры призывали молодежь вернуться к науке, приняться за научные занятия. <...> ... У<ниверситет> должен быть не очагом революции, а мастерской, в глубине которой совершается великая тайна познания истины и создания идеалов [ЭнциСлов-БрЕ. Доп. т. Па. С. 798–800].

⁶³ Личное дело студента юридического факультета Киевского университета Св. Владимира Иосифа-Лейбы Израилевича Ландау, хранится ныне в Государственном архиве г. Киева: Фонд № 16, опись 464, ед. хранения 5869 (на 20 листах).

⁶⁴ Университет / Гео-Киев: URL: <http://geo.ladimir.kiev.ua/pq/dic/g-K/a-UNIVERSITET>.

По-видимому, вследствие этого киевское студенчество, в отличие от петербургского, московского и одесского, не принимало активного участия в революционном движении и даже в бурные годы Первой Русской революции (1905 – 1905 гг.) в целом оставалось политически инертным. Касалось это и еврейского студенчества – см. [ИВАНОВ А.Е.].

Однако революционные события не могли, конечно, не оставить болезненных следов в памяти Алданова, особенно еврейский погром в Киеве 1905 г.

В <...> весенние дни 1905 года произошла первая в России революция. В Киеве начались беспорядки, еврейские погромы, демонстрации черносотенцев, которые шли по улицам с портретом Царя Николая II, флагами и пением «Боже, царя храни». Мы всей семьей с балкона наблюдали эти шествия, которые я очень хорошо запомнила в свои 4 года. Но еще ярче в памяти встает картина погрома еврейских лавок на Сенной площади. Грабили лавочки евреев, их самих вытаскивали, били, когда они сопротивлялись, тащили все, что там было. Запечатлелась жуткая картина—толпа обезумевших жадных к легкой добыче людей, тащит из маленькой лавочки кипы материй, которые волочатся по грязи, а самого хозяина, старого еврея в черном лапсердаке и ермолке, избивают с остервенением. Разносится дикий крик, вопли. И вдруг, мы увидели молодого еврея, который бежал по крышам лавочек, преследуемый дикими криками разъяренной толпы. Ему удалось проникнуть к подъезду нашего дома. Папа быстро одел свою тужурку с красными генеральскими отворотами (папа в то время уже был действительный статский советник), спустился вниз, успел открыть дверь подъезда и впустить преследуемого молодого человека, который стремглав помчался вверх по лестнице на чердак. Отец не впустил в дом никого из беснующейся толпы, благодаря воздействию своей генеральской куртки. И вид генеральских отворотов преградил дорогу толпе. Так был спасен от самосуда один из многих евреев, пострадавших от реакции 1905 года [МАТВЕЕВА (ВАКАР)].

Как интересные исторические совпадения, отметим, что на юридическом факультете вместе с Марком Ландау учились такие будущие советские знаменитости, как поэт-футурист Бенедикт Лифшиц – Георгиевский кавалер Первой мировой, расстрелянный в годы Большого террора, его обвинитель Андрей Вышинский – верный сторожевой пес Сталина, создатель «правовой базы» советского карательно-репрессивного аппарата, Прокурор СССР, а затем Министр иностранных дел и Давид Заславский – журналист-идеолог, выразитель официальной линии партии при Сталине и Хрущеве, знаменитый советский политический обозреватель. Последний вышел из университета в один год с Ландау-Алдановым, но никаких сведений о том, что они как-то общались друг с другом, не имеется.

В 1906–1910 гг. в Киеве жила и училась Анна Ахматова (урожд. Горенко), но с Марком Ландау она нигде не пересекалась, а Алданов, по его собственным словам, «ничего не понимавший в стихах», вряд ли знал об этом факте биографии знаменитой поэтессы Серебряного века.

Один из героев алдановских литературных портретов – Ллойд Джордж⁶⁵, с ранней юности пристрастившись к публицистической деятельности, публиковал, как пишет Алданов, в местной газете политические статьи, по которым нетрудно судить о его взглядах в молодости. Казалось бы, и Марк Ландау, будучи студентом университета, должен был тоже как-то заявить себя на этом поприще: печатать, например, статьи или репортажи в газете «Киевская мысль» – солидном издании либерально-демократической ориентации, где среди прочих публиковались Короленко, Горький, Луначарский, Лев Троцкий... Однако же никаких сведений о публицистических опытах киевского студента М. Ландау не обнаружено.

Личных воспоминаний о сокурсниках и комментариях о годах, проведенных им в стенах этого учебного заведения, Алданов не оставил. Можно полагать, что ничего экстраординарного в те годы с ним не происходило: периодически ездил за границу посмотреть на мир Божий и

⁶⁵ Алданов Марк. Ллойд Джордж, цитируется по: URL:<http://www.rulit.me/books/lloyd-dzhordzh-read-417906-2.html>.

попрактиковаться в иностранных языках и, конечно же, упорно и с увлечением учился, ибо от природы – гены еврейских мудрецов! – был расположен к учению и мышлению, а Судьба распорядилась так, что он имел возможность свои способности развить:

...Я родился в богатой семье киевских сахарозаводчиков. Это дало мне счастливую возможность идти навстречу своим стремлениям и путешествовать, путешествовать без конца! Единственная часть света, в которой я не был, – Австралия...

Материальная независимость дарила меня возможностью посвятить себя двум редко совместимым богам: литературе и... химии... [СУРАЖСКИЙ. С. 3].

Современники, рассматривая биографию молодого Алданова:

С точки зрения всего пережитого, особенно людьми его поколения, <отмечали, что> Алданов был человеком счастливой и во многом завидной судьбы.

Родился он в семье, которая могла без труда обеспечить едва ли не все его прихоти. Родился еще в эпоху, когда ему казалось, что все для него «море по колено». «Живи как хочешь» – не вполне удачно озаглавил он один из последних своих романов, но это заглавие было в его буквальном смысле применимо к его биографии. Родился он с врожденным, рано проявившимся талантом и, мало того, с жадным, с неутолимым любопытством к миру, к знанию, к истории – и, может быть, меньше всего к «первым встречным», какими бы они ни были.

На своем веку он, вероятно, прочитал все, что только было достойно прочтения, не ограничиваясь тем, что по каким-то неписанным правилам прочитать «надлежало», – и это касалось не только области литературы, но и обнимало философию и все те «точные» науки, как математика, физика или химия, для которых эпитет «точный» оказывался в конце концов устаревшим и условным.

Кончил он, едва ли не походя, два факультета университета св. Владимира, а еще в придачу к ним и как бы невзначай парижскую Высшую школу политических наук, в качестве туриста, а, может быть, лучше сказать, стороннего «наблюдателя» побывал он на четырех материках <...>. Все это вместе взятое позволяло ему почти на личном опыте знать понемногу обо всем или, по крайней мере, почти обо всем, но зато почти во всех областях [БАХРАХ (I)].

Глава 2. Химик, подававший надежды (1910–1917 гг.)

*Творец! покрытому мне тьмою
Прости премудрости лучи
И что угодно пред тобою
Всегда творити научи.*

Михайло Ломоносов

В 1910 г. Марк Ландау, окончив полный курс физико-математического и юридического факультетов, подал прошение о зачислении его на юридический факультет. В папке:

«ДЪЛЮ» Ландау Мордохая-Маркуса Израилевича (на 31 листах) Канцелярии по студенческим делам ИМПЕРАТОРСКОГО Университета Св. Владимира⁶⁶

– имеется заявления от 11 августа 1910 года на имя Ректора Императорского университета Св. Владимира выпускника физико-математического факультета (диплом № 815 от 15 марта 1910 г.) Мордохая-Маркуса Ландау с просьбой «зачислить его в число студентов юридического факультета», где в частности указано, что он закончил Киево-Печерскую гимназию с золотой медалью и представляет: нотариально удостоверенные копии 1) аттестата зрелости, 2) временного свидетельства об окончании физико-математического факультета с дипломом первой степени, 3) свидетельства о получении золотой медали за университетское сочинение 4) метрического свидетельства о рождении, 5) свидетельства об освобождении от воинской повинности, 6) свидетельства о принятии русского подданства, 7) паспортной книжки.

<...> Мой адрес: г. Киев. Левашевская ул. д. № 27.

Прошение это было удовлетворено, и М.-М. Ландау продолжил свою учебу в университете вплоть до конца 1912 г., теперь уже в качестве студента юридического факультета. Интересно, что в «ДЪЛЕ» М.-М. Ландау находится также его прошение, датированное 27 июля 1912 года, о переводе в ярославский Демидовский юридический лицей⁶⁷. Несмотря на удовлетворение со стороны Министерства народного просвещения этого прошения, перевод по каким-то причинам не состоялся, и Марк Ландау-Алданов завершил свое юридическое образование в Киевском Императорском университете Св. Владимира.

В 1910 г. в журнале «Университетские известия» Киевского университета была опубликована его большая (112 страниц) научная работа «Законы распределения вещества между двумя растворителями» [ЛАНДАУ М.А.]. По словам Алданова, университет, наградивший его за эту работу золотой медалью, напечатал ее в 1911 г. отдельной книгой. В последовавшие затем три года, – рассказывал Алданов, – он поместил немало научных статей в русских, французских, немецких химических журналах. В выбранной им области науки – физическая химия, где физические методы и подходы применялись к изучению химических процессов,

⁶⁶ ДАКО (Киев) Фонд. 16Б оп. 464, ед. хр. 5866.

⁶⁷ Основанный в 1803 г. по высочайшему указу Александра I на средства и по предложению ученого-натуралиста и мецената Павла Демидова (1739–1821), лицей давал высшее юридическое образование, как и университеты. В начале XX в. его ежегодно заканчивали около 100 человек, пятая часть из них как кандидаты права. Лицеом издавались «Временник» (более 100 томов), «Юридическая библиография» и «Юридические записки». По юридической литературе (100 тысяч томов) библиотека лицея уступала только библиотеке Московского университета.

он стал заниматься кинетикой химических реакций⁶⁸. Тогда это было новое, активно развивающееся направление, основы которого заложили труды выдающегося голландского ученого Якоба Хендрика Вант-Гоффа – первого лауреата Нобелевской премии по химии [ЛЕЕНСОН].

Работы Вант-Гоффа имели столь большой резонанс в научной среде, что одна из его книг в начале XX в. была переведена на русский язык [ВАНТ-ГОФФ (I)]. В то время большинство русских ученых свободно владели основными европейскими языками, поэтому переводы литературы по естественным наукам на русский язык были немногочисленны, публиковались только научные бестселлеры. Интересно, что опубликованная на французском языке в Париже книга Марка Алданова «Химическая кинетика: пролегемоны и постулаты» [LANDAU MARC (I)] увидела свет в один и тот же год – 1936, что и перевод книги Вант-Гоффа полувековой давности – «Очерки по химической динамике», изданный в СССР [ВАНТ-ГОФФ (II)].

Получив диплом юриста, Марк Ландау в начале 1913 г. отправился путешествовать по миру. Он был щедро снабжен семьей деньгами и, наверное, еще и рекомендательными письмами. Помимо семейных наставлений молодой Алданов, как и Юлий Штааль – главный герой его будущего романа «Девятое термидора», видимо, во многом тогда руководствовался указаниями своего любимого философа Рене Декарта, изложенными в «Discours de la Méthode» («Рассуждение о методе»):

«...как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решил искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий... Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни».

Эти слова открыли Штаалю значение его собственной жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта: нужно сначала увидеть мир и людей, испытать все, пройти через все, – а потом смысл придет сам собою...

<...>

Я молод, я мало знаю! Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее... Я пойду в мир искать ее! [«Девятое термидора» АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

Вспоминая о днях своей молодости, Алданов писал В.А. Маклакову 4 августа 1954 г:

В 1912 г. я побывал в Соединенных Штатах (в ту пору изъездил четыре части света, только в Австралии не был). Помню, приехал в С. Луис на Миссисипи – и подумал, что ближайший знакомый у меня находится на расстоянии в несколько тысяч верст [АЛДАНОВ (III)].

Жена писателя Татьяна Марковна Ландау-Алданова в беседе с <еврейским журналистом> Г<ершомом> Светом <...> вспоминала о том, что Алданов посещал Святую землю до Первой мировой войны:

⁶⁸ Кинетика химических реакций или химическая кинетика – раздел физической химии, изучающий закономерности протекания химических реакций во времени, зависимости этих закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений, см. Кинетика химическая: URL: <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1977.html>.

«В те годы, – рассказывала она, – ездил в Палестину и Бунин, опубликовавший свои впечатления в книге "Святая земля"⁶⁹ Алданов собирался написать рассказ на тему Экклезиаста, но не успел. Смерть унесла с ним и ряд других невоплощенных литературных планов» [Инт...К ВАМ].

Молодой Алданов путешествовал, образовывался и воспитывал себя как «европейца». Один из персонажей знаменитых «Трех разговоров» В.С. Соловьева (Политик) рассуждает следующим образом:

Что такое *русские* – в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну, а к какому же существительному это прилагательное относится? <...> Настоящее существительное к прилагательному *русский* есть *европеец*. Мы – *русские европейцы*, как есть европейцы английские, французские, немецкие. <...> Сначала были только греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на западе, потом и на востоке, явились русские европейцы, там за океаном – европейцы американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, индийские, японские, даже, может быть, китайские. Европеец это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом [СОЛОВЬЕВ В.С.].

Результаты «направленной» европеизации в случае Алданова были более чем плодотворными и, по общему мнению знавших его людей, характеристика «русский» – это «европеец» по отношению к его персоне являлась правомочной и безоговорочной. Во всех алдановедческих исследованиях особо *подчеркивается* его неразрывная принадлежность к обеим культурам – см., например работу Ж. Тассис «Писатель Марк Алданов как русский и европеец» [TASSIS (II)]. Да и сам Алданов, отметим, никогда не возражал против такого рода характеристики его особы.

В своих путешествиях молодой Алданов не только европеизировался, но и набирался знаний, впечатлений и обзаводился интересными знакомствами. Все, что впитала в себя его цепкая память в это счастливое и беззаботное время его жизни, впоследствии было использовано им в качестве живых деталей для картинок и сцен в документально-исторической прозе. Так, например, говоря о романе «Десятая симфония», он вспоминал о своей мимолетной встрече с последней французской императрицей Евгенией. Этот случай подтолкнул его к написанию сюжета, где о беседе

...императрицы Евгении с художником Изабэ. Я остановился на этом с особенной бережной любовью. У меня всегда было какое-то мистически-благоговейное чувство к живой, человеческой «цепи», соединяющей исторические звенья... Как-то до войны еще, в Париже, я на Рю де ла Пэ перед витриною ювелира Картье. Подъезжает карета. Сухой, высокий старик под руку высаживает даму в глубоком трауре со следами замечательной красоты. Это была императрица Евгения, а старик – ее личный секретарь Пьетри... Я шел под впечатлением этой встречи. Я только что увидел одну из самых трагических венценосиц... Шестьдесят пять лет тому назад, тоже в центре Парижа, остановилась карета, из нея вышла молодая цветущая императрица и милостиво беседовала с почти восьмидесятилетним миниатюристом Изабэ, тем великим Изабэ, кто в ранней молодости своей писал портрет Марии Антуанетты... [СУРАЖСКИЙ. С. 3].

⁶⁹ У Бунина не было такой книги, хотя он, действительно, посещал Палестину весной 1907 г. Скорее всего, имеется в виду бунинская книга «Весной, в Иудее» (Нью-Йорк, 1953), названная по одному из вошедших в нее рассказов.

Интересным моментом в биографии Алданова является то, что он никогда не пытался заявить себя как правовед, хотя, казалось бы, эта гуманитарная сфера деятельности куда больше сочеталась с его страстью к писательству. Да и в житейских делах, когда необходимо было решать проблемы, касающиеся вопросов гражданского права, он предпочитал полагаться не на свои знания в юриспруденции, а пользоваться услугами профессионалов – в первую очередь своего земляка Алексея Гольденвейзера, «юриста Моисеева закона», близкого ему по мировоззрению «левого либерала», в эмиграции активного общественника, который, как и Алданов, живо интересовался не только происходящим в стране пребывания, но и международными, прежде всего, европейскими событиями, <чему> способствовало знание языков [БУДН.-ПОЛЯН. С. 364].

Забегая вперед, отметим, что в архиве А. Гольденвейзера⁷⁰ сохранилась его обширная переписка с М. Алдановым эмигрантского периода, свидетельствующая о том, что как адвокат он вел семейные дела писателя.

С приходом в Германии к власти нацистов и началом развязанной ими Второй мировой войны:

Главным делом Гольденвейзера⁷¹ <...> была работа по вызволению русских евреев из Европы.

<...>

«Делами о визах я занят ежедневно: с каждым делом очень много хлопот и подвигаются они медленно», – сообщает Гольденвейзер в мае 1941 года.

Возможно, что А. Гольденвейзер имел также отношение к получению визы для М.А. и Т.М. Алдановых, поспособствовав тому, чтобы Алданов попал в категорию левых политических деятелей, чья жизнь была под угрозой при нацистском режиме ... <т.к.> он продолжал числиться членом партии народных социалистов [БУДН.-ПОЛЯН. С. 300].

Точно известно [БУДН.-ПОЛЯН. С. 300, 321], что именно Алексей Гольденвейзер занимался американскими визами для близких родственников Марка Алданова – супругов Любви и Якова Полонских, и их добился. Однако по несчастному стечению обстоятельств Полонские не сумели вовремя покинуть Францию и все время оккупации, рискуя жизнью, были вынуждены обретаться в Ницце. Дружеские отношения и переписку с Алексеем Гольденвейзером Алданов поддерживал вплоть до своей кончины.

Однако же вернемся к молодому Алданову-путешественнику.

Решив, видимо, в какой-то момент, что посмотрел он мир достаточно, Алданов принимает решение заняться конкретным делом: углубить и отшлифовать свои научные знания. В 1913 г. он начинает стажироваться как химик у известного французского ученого профессора Виктора Анри в парижской Практической школе высших исследований (École pratique des hautes études – ЕРНЕ). Здесь Алданов занимался исследованиями в области кинетики химических реакций.

Вспоминая об этом периоде своей жизни он писал:

Я был в Париже молодым человеком <...>, работал в Сорбонне в лаборатории моего друга Виктора Анри и через него познакомился с так тогда называвшейся «молодой Сорбонной»: Марией Кюри, Перреном, Ланжевром и другими. Часто завтракал с ними в небольшой, теперь больше не существующей «Кремери» на Плас де ла Сорбонн. Из русских, кроме меня, постоянно участвовал в этих завтраках Богомолец, впоследствии столп

⁷⁰ Бахметевский архив (БАР – ВАР): Alexis Goldenweiser Papers [GOLDENWEISER].

⁷¹ Алексей Гольденвейзер перебрался из Берлина в США в 1937.

советской науки⁷², прославившийся своей сывороткой и прославлявший Сталина (тогда он, кстати, был монархистом и считал кадетов слишком левыми). Кроме него, все в «Кремери» (и в «молодой Сорбонне») были левыми, – направления, скажем, Жореса. <...> С Богомольцем мы были друзьями, но с тех пор я его и не видел, – расстались в 1914 году. Он не так давно в Москве скончался [МАКЛАКОВ. С. 188].

Профессор Анри, у которого стажировался Алданов, заслуживает отдельной темы, т.к. он был фигурой в научном мире не только значительной и уникальной – по широте и всеохватности своих научных интересов, но и очень яркой личностью.

Виктор Анри родился 6 июля (по другим данным – 6 июня) 1872 года в городе Марселе. Он является единокровным братом знаменитого русского механика и кораблестроителя академика Алексея Николаевича Крылова. У них с А.Н. Крыловым был общий отец – Николай Александрович Крылов (1830–1911), в прошлом офицер, участник Крымской войны 1853–1856 гг. Матерью же Виктора Анри являлась тетя А.Н. Крылова, т.е. родная младшая сестра его матери.

Если бы ребенок от такого союза родился в России, то его как незаконнорожденного ожидала бы весьма печальная судьба. В просвещенной Франции к тому времени законодательство уже не ограничивало внебрачных детей в гражданских правах. Поэтому Крыловы приняли решение всей семьей переехать во Францию, в гостеприимный средиземноморский портовый город Марсель. Родившегося ребенка назвали интернациональным именем Виктор (Victor), крестным отцом его был старший брат Алексей, от которого он получил отчество, а фамилия ему была дана типично французская – Анри (Henri).

Как французский подданный Виктор Анри был привезен позже в Россию, учился в московской немецкой гимназии, а в 14-ти летнем возрасте вместе с матерью вернулся во Францию и жил в Париже. В 1891–1894 гг. Виктор Анри штудировал математику, физику и химию в подготовительных классах Высшей школы, затем учится в Сорбонне, одновременно работая там же в лаборатории экспериментальной психологии. Его исследования в этой области привлекают к себе внимание научной общественности, а после выхода в свет его совместной с Альфредом Бине книги «Ведение в экспериментальную психологию» [BINET] он становится весьма авторитетной фигурой в этой области.

В 1894–1896 гг. Анри стажировается на факультете психологии Лейпцигского университета и одновременно занимается исследованием химических основ физиологических процессов, включая кинетику и катализ ферментных реакций.

Его научные интересы невероятно обширны. В 1897 г. он защитил докторскую диссертацию в Геттингенском университете на тему «Локализация вкусовых ощущений», а в 1902 г. – в Сорбонне, вторую докторскую диссертацию, уже в области биохимии, – «Общие закономерности действия диастазы»⁷³.

⁷² А.А. Богомолец – академик, вице-президент АН СССР, президент АН УССР, родился в семье «народников». За революционную деятельность его мать Софья Николаевна Богомолец была в 1881 г. осуждена на 10 лет каторги. В советском «ядерном пректе» Богомолец курировал работы по созданию газовых центрифуг для обогащения урана. Он скончался 17 июля 1946 года на своей даче под Киевом. Летом 1950 г. в Киеве состоялось выездное заседание АН СССР и АМН СССР. На нём учение Александра Богомольца о роли соединительной ткани в формировании иммунной системы человека было названо «антинаучным». Никакие аргументы научного характера не приводились. Ученому посмертно ставили в вину насаждение идеалистического мировоззрения и попытки бороться с учением И. П. Павлова. Работа созданных им Института экспериментальной биологии и патологии и Института физиологии была приостановлена и возобновилась только после смерти Сталина. Антирадикальная цитотоксическая «Сыворотка Богомольца» успешно применялась в годы войны для лечения инфекционных болезней и переломов у раненых, а также – огнестрельных ранений, поражений глаз, сепсиса и др. болезней.

⁷³ Диастаза (альфа-амилаза) – фермент, вырабатываемый в поджелудочной железе и слюнных железах и помогающий переваривать поступающие с пищей углеводы.

По мнению историков науки – см. [CORNISH-BOWDEN а.о.], из-за разнонаправленности научных поисков Виктора Анри, его имя до сих пор не оценено по заслугам: биохимики не знают ни его ранних работ по физиологии, ни последних – в области спектроскопии и фотохимии. Однако именно Анри в 1902 г. на основе своих экспериментальных исследований опубликовал статью, в которой описал кинетику ферментных реакций. Через 10 лет на основе его представлений было выведено кинетическое уравнение Михаэлиса – Ментена⁷⁴.

Многолетние успешные работы Анри в области физической химии (кинетика и катализ энзимов, молекулярная спектроскопия), обрывает начавшаяся Первая мировая война. Ученый переключается на выполнение правительственных оборонных программ в области химической защиты.

В 1916 г. Виктор Анри по официальному направлению французского правительства приезжает в Россию в качестве атташе по науке, поселяется в Петрограде и занимается организацией химической промышленности оборонного значения. В это же время в Петрограде обрелся и Марк Ландау⁷⁵. Он, как пишет в своей статье-воспоминании о нем Александр Бахрах:

Работал по своей специальности, то есть, по химии, которая, как мне всегда казалось, больше всего его притягивала. Во время войны (конечно, я имею в виду ту первую, далекую) он имел какое-то касательство к заводу, изготовлявшему, если не ошибаюсь, удушливые газы... [БАХРАХ (I)].

Можно полагать, что в годы войны (1916–1918) профессор Виктор Анри, работая в военной индустрии России, сотрудничал со своим русским учеником.

О своей работе в оборонной промышленности в период 1914–1917 гг. Алданов рассказывал в публичном интервью лишь единожды и то очень скупно:

С началом военных действий, – я только-только успел прибыть к ним из-за границы, – уже не до литературы было. Меня мобилизовали. <...> Я надел форму тылового земгусара⁷⁶ и, как химик, занялся удушливыми газами, с откомандированием на соответствующие заводы [СУРАЖСКИЙ. С. 2].

В области разработки средств защиты от удушливых газов Алданов, помимо Анри, возможно сотрудничал с выдающимся русским химиком, изобретателем «противогаза», академиком Николаем Зелинским, с коим, по его словам, познакомился во время путешествия по США. Косвенно, это предположение основывается на следующем высказывании Веры Николаевны Буниной в ее письме из Парижа в Ниццу Татьяне Марковне Ландау-Алдановой от 24 августа 1953 года:

Скажите «Вашему», что скончался Н. Д. Зелинский на девяносто третьем году жизни. Я знала его близко, он бывал у нас. Читал на курсах⁷⁷ органическую химию и задавал нам задачи в лабораториях на разных курсах.

Он – одна из постоянных связей прошлой моей жизни. От последней жены у него остался сын. Их у него было три. Два после 50-ти лет... А как он любил первую! И как он горевал после ее смерти [ЖАЛЬ...БаВеч].

⁷⁴ Уравнение описывает зависимость скорости реакции, катализируемой ферментом, от концентрации субстрата.

⁷⁵ Петроградский период жизни Алданова: 1914–1918 гг.

⁷⁶ Лица, сотрудничавшие в Земгоре – Главного по снабжению армии комитета, созданного деятелями Всероссийского Земского союза и Союза городов в 1915 г. для организации производства и содействия снабжения действующей армии военным, тыловым и медицинским имуществом, снаряжением и продовольствием, носили особую форму сродни офицерской. Знаки различия там были другие, петлицы, кокарды. От любви многих из них везде светить этим «мундиром» их прозвали в народе «земгусары».

⁷⁷ Имеются в виду Московские высшие женские курсы, на химическом факультете которых училась Бунина. После революции это учебное заведение было переименовано во 2-й Московский государственный университет, затем на основе химфака был создан Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова.

После Октябрьского переворота Виктор Анри вместе со своим старшим братом – генералом царского флота и академиком-кораблестроителем Николаем Крыловым, пошел на службу к большевикам. В 1918 г. он заведует лабораторией в Институте биологической физики в Москве, затем переезжает в Петроград, работает в Государственном оптическом институте (1919–1920), публикует в его трудах научный обзор «Состояние доквантовой молекулярной спектроскопии»⁷⁸.

С этого момента пути учителя и ученика на время разошлись: Алданов примкнул к непримиримой оппозиции, а в 1919 г., предвидя поражение «белого движения», бежал из советской России.

Однако «искус большевизма» у Виктора Анри довольно быстро сменился на его категорическое неприятие. Вернувшись во Францию, он вошел в члены редколлегии парижского журнала «Грядущая Россия», который в 1920 г. начал издавать (вышло всего два номера) Председатель заграничного комитета партии народных социалистов (НТСП) Николай Чайковский со своим однопартийцем Марком Алдановым.

Впоследствии Виктор Анри работает профессором в Цюрихском университете, а с 1930 по 1940 г. профессором и заведующим кафедрой физической химии Льежского университета. После начала войны с Германией он вновь приступает к работе над военными проблемами, но летом 1940 г. умирает от воспаления легких в г. Ла-Рошель [АККРЫЛОВ].

В переписке Алданова не звучит тема о том, что, оказавшись в эмиграции, он пытался пристроиться на работу в научных центрах, где профессорствовал Виктор Анри. Видимо, вкуса к экспериментальной работе у него не было. Тем не менее, свою жизненную привязанность к химии Алданов, даже став известным литератором-романистом, не упускал случая подчеркнуть:

Я – химик и, по словам моего профессора Анри, – подававший надежды [СУРАЖСКИЙ. С. 4],

Бахрах, например, в этой связи пишет, что

...мне иногда мыслится, хотя доказать этого не могу, что его большая работа «о законе распределения вещества между двумя растворителями» или гораздо более поздняя об «актинохимии» (для профана одни эти заглавия чего стоят!) давали ему больше морального удовлетворения, чем успех его исторических романов, переведенных на бесчисленное число языков.

В периоды неудовлетворенности собой, разочарования в своих литературных трудах и усталости от напряженной писательской работы, а их в жизни Алданова, склонного, как и большинство творческих людей, к депрессии, было немало, он сразу же возвращался в мечтах к идее о профессиональной научной работе. Так, например, в письме к Бунину от 17 января 1929 года он сообщает:

... Подумываю и о химии, и о кафедре в Америке – ей Богу [УРАЛЬСКИЙ М. (II). С. 247].

Научные амбиции Алданова и его высказывания типа «Я – химик» нуждаются, на наш взгляд, в прояснении.

Действительно, Алданов – один из немногих русских эмигрантов-интеллектуалов, у которых была «кормящая профессия». Представляется очевидным, что это свое преимущество он пытался по жизни использовать. Его перу принадлежат две монографии по химии, вызвавшие в свое время интерес у специалистов, – «Химическая кинетика: пролегомены и посту-

⁷⁸ В 1925 г. Виктор Анри открыл и объяснил явление преддиссоциации – исчезновения тонкой структуры полос поглощения.

латы» [LANDAU MARC (I)] и «О возможности новых концепций в химии» [LANDAU MARC (II)]. Обе книги носят чисто теоретический характер, являя собой пример глубокого аналитического обобщения современных достижений в области физической химии, главным образом связанных с исследованиями кинетики химических реакций. Однако собственных новаторских работ у автора этих книг не было: он не открыл новых законов, не предложил оригинальных уравнений, не высказал пионерских гипотез. Проживая после своего бегства из России в Европе и США, Марк Ландау никогда не занимался прикладной или инженерной деятельностью в области химии. Он – чистый теоретик-систематизатор, и в этом качестве, в силу давления над ним неблагоприятных финансовых обстоятельств, мог бы, исходя из общих предположений, устроиться на должность университетского преподавателя. Но в таких обстоятельствах он – хотя страшно, до болезненного этого боялся! – по жизни, к счастью, никогда не оказывался, а потому отложенная на «чужой день» преподавательская деятельность так и осталась Алдановым невостребованной.

Наука, еще в большей степени, чем писательское ремесло, требует постоянного в нее погружения. Длительные перерывы в научной деятельности неизбежно ведут к отставанию, снижению профессионального уровня. Факторы «свежего глаза» и «спонтанного озарения» здесь весьма незначительные составляющие действительного успеха. К тому же, чтобы завоевать прочный авторитет в научном мире, надо в нем постоянно быть на слуху у коллег-ученых. Все это в случае Ландау-Алданова не просматривается. Он даже не дал себе труда защитить докторскую диссертацию. Поэтому Дон-Аминадо – старый друг-приятель Алданова отнюдь не проявлял излишний скептицизм, когда в одном из писем к нему (от 8 августа 1945 года) писал:

В то, что Вы займетесь химией, я, дорогой Марк Александрович, не верю.

Проклятие или благословение, – но писательство тяготеет над Вами ныне и присно. И, слава Богу! [СХОД-ПАРАЛ].

Для Марка Алданова его литературный дар, несомненно, являл собой пример «благословения», хотя в художественном плане из всех русских писателей он является наиболее научно-мыслящим и наименее фантазером [САБАНЕЕВ], что после его кончины давало некоторым критикам повод снижать его литературный дар и говорить о сухости его прозы и об отсутствии в ней «взлетов» [БАХРАХ (I)].

Существует мнение, что Алданов по сути своей являлся мыслителем-публицистом, который использовал формат художественной литературы для репрезентации своих идей – см., например, [TASSIS (I)]. Такого рода точка зрения представляется вполне обоснованной. Однако же аттестовать Марка Ландау-Алданова как «профессионального ученого» на основании наличия у него «научного склада ума», диплома об окончании физико-математического факультета и даже двух монографий по химической кинетике, можно лишь с большой натяжкой. Скорее всего, здесь уместно говорить о «научных интересах» писателя Алданова, во многом определивших особенности его мировоззрения. Так, например, учение о статистическом характере протекания химических реакций явно повлияло на формирование концепции «хаоса истории» – см., [МЛЕЧКО], которая в оценке динамики исторических процессов стала у Алданова доминирующей.

Людам свойственно переоценивать долю намеренного, сознательного и целесообразного в действиях всевозможных правительств. Планы, мысли, стремления людей, стоящих у власти, вызывают разные, большей частью враждебные чувства. Но самое существование этих мыслей, планов, целей обычно не вызывает сомнения. Огромная доля бессознательного, случайного, механического в том, что делает власть, постоянно проходит незамеченной [«Чертов мост» АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

Глава 3. На литературной стезе: Горький и Мережковский; «Толстой и Роллан» (1910–1917 гг.)

*Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.*

Николай Некрасов

В предреволюционные годы <Марк Ландау> обосновался в Петербурге. Жил в той атмосфере петербургского «серебряного века», которая уже давно стала едва правдоподобной легендой.

<...>

В Петербурге он успел перезнакомиться с большинством представителей той либеральной и интеллектуальной элиты, которая могла быть ему интересна и среди которой он сразу почувствовал, что принят как «свой» [БАХРАХ (I)].

Сам Алданов в одном из послевоенных писем Василию Маклакову говорит, что:

Я ведь этот мир писателей и артистов перед первой войной еще застал и помню. А читаешь <воспоминания Тихонова⁷⁹>, как если бы это происходило сто лет тому назад. Тихонова я знал. Пишет он интересно, но привирает [МАКЛАКОВ. С.157].

К модернистским течениям в литературе и искусстве Алданов симпатий не питал, потому из всех литературных центров столицы, стал завсегдатаем знаменитой квартиры Максима Горького на Кронверкском проспекте 23 (квартира 5/16⁸⁰). В письме к Е. Кусковой от 26 ноября 1954 года (см ниже) Алданов вспоминает, что впервые нанес визит Горькому в ответ на его приглашение в 1915 г. Горький был не только самым известным в мире русским писателем того времени, но и активным общественником, основателем и руководителем имевших выраженный «левый уклон» издательства «Парус»⁸¹ и издававшимся им литературного журнала «Летопись». Поэтому «Кронверкскую 23» по самым разным поводам посещала вся литературная элита города.

Алданов, 40 лет спустя утверждавший, что с первого личного контакта «он был мне неприятен», однако же, принял решение пристроиться под крылом Горького. Можно полгать, что это было связано с горьковским декларативно-благотворительным отношением к личности Льва Толстого. Напомним, что они были лично знакомы, состояли в переписке и об их встречах Горький вел дневникового характера записи, поденная записка, как говорили в старину. Он приходил со встречи с Толстым и записывал по свежим следам его разговоры. Потом эти записи потерялись, а потом счастливо нашлись. Это очень интересные записи. Когда Горький издал их, собрав в книгу, она заслужила всеобщее одобрение и хвалу⁸² [ТОЛСТОЙ И. – ПАРАМОНОВ Б.].

⁷⁹ Александр Серебров (А.Н. Тихонов). Время и люди. Из книги воспоминаний // Новое русское слово. 1950. 13 марта – 1 апреля.

⁸⁰ В этой 11-комнатной квартире помимо Горького и его семьи проживало еще множество людей из числа «друзей», «близких знакомых» и родственников.

⁸¹ «Торговый дом А.Н. Тихонова и К^о. Книгоиздательство «Парус», созданное Горьким совместно с его друзьями-помощниками А.Н. Тихоновым и И.П. Ладыжниковым, существовало с 1915 по 1917 г. В эти же годы выходил в свет журнал «Летопись».

⁸² Имеется в виду горьковский очерк «Лев Толстой», который полностью впервые был опубликован в книге: *Горький М.*

Высказывания и оценки Горьким личности Льва Толстого как писателя и человека носят исключительно комплиментарный, более того, благоговейный характер:

Толстой – это целый мир!

В искусстве слова первый – Толстой;

...душа нации, гений народа;

Толстой глубоко национален, он с изумительной полнотой воплощает в своей душе все особенности сложной русской психики...;

Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки – отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити...;

Я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он—нет ничего величественнее и дороже нам...

Этот человек – богоподобен! [РЕМИЗОВ В.Б.]

Архив А.М. Горького располагает материалами, говорящими о том, что в 1917–1918 гг., в кругу знакомых, М. Горький подробно рассказывал о встречах с Л.Н. Толстым. Тогда же он сообщил и о своей работе над воспоминаниями [ГОРЬКИЙ (IV)].

Молодой ученый Марк Ландау, также как и Горький, боготворил Льва Толстого, и в этом они очень сходились друг с другом.

В статье «Воспоминания о Максиме Горьком: К пятилетию со дня его смерти» (1941 г.) Марк Алданов сообщает подробности о своих контактах с Горьким, а значит – с литературным миром Петрограда военных лет. Литературный портрет Горького составлен по наблюдениям и впечатлениям от их личного общения в доэмигрантский период, т.к. в последующие годы Алданов и Горький не встречались и в переписке не состояли.

Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо и в один период жизни (1916–1918 годы) видел его часто. До революции я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году к этому присоединились еще встречи в разных комиссиях по вопросам культуры.

Флобер оставил пишущим людям завет: «Жить как буржуа и думать как полубог!» Горький и до революции, и после нее жил вполне «буржуазно» и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и настоящие «обеда», человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяином. Он очень любил все радости жизни. Любил, в частности, хорошее вино (хотя «пьяницей» никогда не был). После нескольких бокалов вина он становился особенно мил и весел. Слушал охотно других, сияя улыбкой (улыбка у него была детская и чрезвычайно привлекательная). Еще охотнее говорил сам. Видел он на своем веку очень много и рассказывал о виденном очень хорошо и занимательно. Правда, к сожалению, как большинство хороших рассказчиков, он повторялся.

<...>

Кстати сказать, этот незначительный эпизод довольно характерен для Горького. Он писал очень гневные страницы о «Желтом Дьяволе» (золоте) и о «Городе Желтого Дьявола» (Нью-Йорке): однако в жизни он очень хорошо знал цену деньгам и умел отлично продавать свои книги и статьи. Он говорил,

что «зарабатывает не меньше, чем Киплинг», и гордился этим: Киплинг в свое время – кажется, не вполне основательно – считался самым дорогим писателем в мире. Тем не менее, несмотря на ум, сметку и деловой инстинкт Горького, обмануть его было легко и обманывали его часто. Если бы его обманывали только в денежных делах!..

Добавлю, что он был щедр и охотно давал свои деньги как частным просителям (их было великое множество), так и на разные политические дела.

<...>

Надо ли говорить, что он прекрасно знал литературные круги: тут его знакомства шли от «подмаксимок» (так называли когда-то его учеников и подражателей) до Льва Толстого. Из интеллигенции, связанной преимущественно с политикой, он хорошо знал социал-демократов. Помню его рассказ – поистине превосходный и художественный – о Лондонском социал-демократическом съезде 1907 года, краткие характеристики главных его участников. Не могу сказать, чтобы эти характеристики были благожелательны. Горький недолюбливал Плеханова, которого считал барином, чтобы не сказать снобом. Недолюбливал и других меньшевиков. Кажется, из всех участников съезда он очень высоко ставил только Ленина. Но зато о Ленине он – повторяю, задолго до своего окончательного перехода к большевикам – отзывался с настоящим восторгом. Он его обожал.

После революции, особенно после октябрьского переворота, посещение дома Горького всегда было связано с некоторым риском. Как помнят, вероятно, читатели, Горький до осени 1918 года занимал резко антибольшевистскую позицию. Он принимал ближайшее участие в руководстве враждебной большевикам газетой «Новая жизнь». Тем не менее, его положение – я мог бы сказать: его светское положение – было совсем особое. Со времени прихода большевиков к власти личные отношения между ним и антибольшевиками почти прекратились. <...> Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большевики, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у него бывали и те и другие, – случалось, бывали одновременно.

<...>

Я думаю, что влияние Ленина сыграло решающую роль во всей жизни Максима Горького. «Великий революционный писатель», как под конец его дней его называли в СССР, был по природе слабохарактерным человеком. Вдобавок ему, как большинству русских самоучек, была присуща погоня за «самым передовым», за «самым левым». На своем колеблющемся жизненном пути он в 1907 году в Лондоне встретил очень сильную личность. Ленин возглавлял левое, большевистское крыло самой левой партии, – чего же можно было желать лучше!

Ленин ни в грош не ставил Горького как политического деятеля. Но Максим Горький был для него находкой, быть может, лучшей находкой всей его жизни. Горький был знаменитый писатель, и слава его не могла не отразиться на партии. Он открывал или, по крайней мере, облегчал большевикам доступ в легальные журналы, в издательства. У него были большие связи среди богатых людей, дававших деньги на разные политические дела. Я не хочу сказать, что Ленин сблизился с Горьким только в интересах партии. Из напечатанных писем его к Горькому видно, что он чувствовал к

нему и личную симпатию, интересовался его здоровьем, его планами. Однако политические идеи Горького у него ни малейшего интереса не вызывали⁸³.

<...>

Я в последний раз видел его в июле 1918 года. Это был именно «обед», – и обед, оказавшийся весьма неприятным. Горький позвонил мне по телефону: «Приходите, есть разговор». Я пришел. Никакого «разговора», то есть никакого дела у него ко мне не было. Вместо этого нас позвали к столу. Обед был, конечно, не очень роскошный, но по тем временам отличный: в Петербурге начинался голод; белого хлеба давным-давно не было; главным лакомством уже была конина. В хозяйстве Горького еще все было в надлежащем количестве и надлежащего качества. Гостей было немного; в большинстве это были люди, постоянно находившиеся в доме Горького, так сказать, состоявшие при нем. Однако были и незнакомые мне лица: очень красивая дама, оказавшаяся за столом моей соседкой, и ее муж, высокий представительный человек, посаженный по другую сторону стола.

Встреча эта была весьма необычной, и я бы мог прибегнуть напоследок маленький эффект. Предпочитаю, однако, сказать сразу, что это были госпожа Коллонтай (впоследствии занявшая пост советского посла в Стокгольме) и «матрос» Дыбенко. Познакомили нас, как обычно знакомят: имена были названы невнятной скороговоркой, и я, по крайней мере почти до конца обеда, не знал, с кем сижу за столом. Говорили о разных предметах. Моя элегантная соседка оказалась милой и занимательной собеседницей. В ту пору в Петербурге везде предметом бесед было произошедшее незадолго до того в Екатеринбурге убийство царской семьи. Говорили об этом кровавом деле и за столом у Горького. Должен сказать, что там говорили о нем совершенно так же, как в других местах: все возмущались, в том числе и Горький, и госпожа Коллонтай: «Какое бессмысленное зверство!» Затем беседа перешла на Балтийский флот <...>. И вдруг из фразы, вскользь сказанной сидевшим против меня человеком, выяснилось к полному моему изумлению, что это «матрос» Дыбенко!

Я ставлю в кавычки слово «матрос». В Петербурге все считали Дыбенко настоящим матросом, без кавычек. Брак его с госпожой Коллонтай вызвал толки и в связи с этим: она по рождению и по первому браку принадлежала если не к высшему, то к довольно высокому военно-бюрократическому обществу царского времени. Я в тот день видел Дыбенко в первый – и в последний – раз в жизни. Как ни поверхностны были мои впечатления от него, очень сомневаюсь, чтобы он был действительно матросом⁸⁴: ни внешним обликом своим, ни костюмом, ни манерами он нисколько не выделялся на общем фоне бывавших у Горького людей. Мысли за столом он высказывал отнюдь не революционные, а весьма умеренные (это был, по-видимому, период его очередной размолвки с правящими кругами). Между тем самое имя его, в связи с разными событиями революции, тогда вызывало ужас и

⁸³ См. характеристику Горького в дневнике Зинаиды Гиппиус (запись от 11 марта 1917 года): слаб и малосознателен. В лапах людей – «с задачами», для которых они хотят его «использовать». Как политическая фигура – он ничто [ГИППИУС-ДН. С. 242].

⁸⁴ Дыбенко, однако, действительно был матросом и в этом качестве с 1911 г. находился на военной службе во флоте: окончил минную школу, произведён в унтер-офицеры. Служил в должности электрика на броненосце «Император Павел I» до конца октября 1915 г., участвовал в заграничном плавании с заходом в порты Франции, Англии, Норвегии. С началом Первой мировой войны участвовал в боевых походах эскадры в Балтийском море.

отвращение почти у всей интеллигенции. Только Горький мог пригласить враждебного большевикам человека на обед с Дыбенко, не предупредив об этом приглашаемого!

Обед уже подходил к концу. Помню, Горького позвали к телефону. Я вышел вслед за ним и попросил его передать привет хозяйке дома (артистке М. Ф. Андреевой). Мне оставалось уйти, не простившись с этими гостями. Я так и сделал. Больше меня Горький к себе не звал, да если бы и позвал, то я не мог бы принять приглашение: через каких либо два месяца после этого обеда он закончил свою ссору с большевиками: у них начинался период долгой (не скажу, безоблачной) дружбы. Она привела к полной капитуляции Горького и через несколько лет к окончательному его переходу на роль состоящего при «вожде народов» официального писателя. Его именем стали называться города, улицы, заводы, аэропланы. Писал он и говорил то, что при такой роли полагалось писать и говорить. Из прежнего иконоборца он стал советской иконой [АЛДАНОВ- СОЧ (IV)].

В письме М. Алданова к Е. Кусковой от 26 ноября 1954 года содержатся дополнительные сведения о его контактах с Горьким.

Познакомился с ним 40 лет тому назад. Вышла в Петербурге моя первая книга «Толстой и Роллан» (забавно, что я напечатал ее на свои деньги, так как боялся искать издателя: откажет – позор!). Литературного мира я тогда почти не знал, хотя жил то в Петербурге, то в Москве. Совершенно для меня неожиданно в «Речи» появилась чрезвычайно лестная статья об этой книге покойного Ю.О. Айхенвальда, с которым я тоже не был знаком. Большую радость он мне тогда доставил – я ему об этом говорил впоследствии в Берлине, когда познакомились. Так вот, Горький прочел эту статью, затем книгу и написал мне лестное письмо <...>. Просил зайти к нему. Разумеется, я зашел, и завязалось знакомство. Но и при всей моей неопытности молодого человека он был мне неприятен (хотя всегда бывал в высшей степени со мной любезен – это черта благожелательности в нём была). Не нравилась мне его манера разговора, повторение одних и тех же красноречивых слов, беспрестанные цитаты и ссылки, в которых чувствовался самоучка (помню, он слова «Берлин», «Жорес» произносил с ударением на первом слоге и т.п.). Но это были, конечно, не худшие его недостатки. Знаю, что в 1918 году и позднее он делал немало добра людям, которых спас, обращаясь к Ленину, – он его любил, кажется, искренно. Помню, в 1918 году я зашел к нему днем. Он с лукавой улыбкой сказал мне: «Жаль, М.А., что Вы не зашли на полчаса раньше: познакомились бы с Ильичом». Я был изумлен: Горький тогда был в крайне антибольшевистской своей стадии и громил большевиков в своей тогда еще выходившей газете. Были у него тогда Суханов и, помнится, Базаров, тоже враги большевиков⁸⁵. Так я и пропустил случай вблизи увидеть Ленина [ЧЕРНЫШЕВ А. (VI). С.137].

Интерес Горького к Алданову вполне объясним. С этим начинающим литератором-интеллектуалом, к тому же по происхождению евреем, – а Горький, как никто другой, манифестировал свою исключительную симпатию к евреям – см. [УРАЛЬСКИЙ (III)], – у него было много чего общего. Оба они были «западники» и видели будущее России в ее коренной европеизации. Оба дистанцировались от религиозного мышления и какой-либо формы быто-

⁸⁵ Эти старые революционеры, близкие знакомые Ленина были уничтожены Сталиным в годы «Большого террора».

вой воцерковленности. Являясь заядлыми книгоочехами, эти литераторы не только постоянно накапливали знания, но и стремились к их глубокому и оригинальному осмыслению.

Но очень многое их разделяло, отчуждало, не позволяя этим встречам и беседам перерасти во что-то большее, чем интеллектуальные отношения. Различия в мировоззрении этих мыслителей-интеллектуалов были по марксистским понятиям *антагонистические*.

Алданов был русский «западник» не только «в Духе», т.е. по характеру мировоззренческих предпочтений, но и в своей органике – как тип личности. Для него все «русское», как культурологическое понятие, несомненно, являлось особой разновидностью европейской культуры, аналогично «португальскому», «голландскому» или «французскому». По линии «преемственности» он, как уже отмечалось выше, сродни Ивану Тургеневу, одному из самых образованных русских писателей⁸⁶. Как некогда этот русский классик, Алданов владел несколькими европейскими языками, хотя свои художественные произведения писал исключительно по-русски, общался с западноевропейскими коллегами-литераторами, большую часть жизни прожил за границей, ненавидел революции и сыграл важную роль в представлении русской литературы за рубежом.

Горький же «западник» только «в Духе», его европеизм – это романтическая идея, в которую он страстно верит, которую в общем и целом для себя и других придумал, но которая не суть качество его личности. Он не владеет иностранными языками, западную культуру воспринимает «книжно», в отраженном свете, и потому его европеизм, так сказать, «переводной».

Если для Алданова Россия – это неотъемлемая, в культурологическом отношении, часть Европы, ибо он отчетливо различает и чувствует все оттенки связующих их «культурных нитей», то для Горького она в первую очередь «азиатчина», которую надо силком в эту Европу втащить. Запада Горький, по сути своей, не знает и живет в западном мире как слепой котенок у добрых хозяев – ни во что серьезно не вникая, но всеми благами с удовольствием пользуясь. Это качество его личности Алданов точно подметил и мастерски описал:

Горький годами жывал за границей, но ни одного иностранного языка он не знал и, по-видимому, Западной Европы и Америки не понимал совершенно. Маленькая подробность. В <одной, например,> работе <...> он, описывая обед, на котором встретился с Бебелем, Зингером и Каутским, сообщает, что они все произносили слово «Mahlzeit». Этого общеупотребительного в Германии приветствия Горький не знал и перевел себе его по-своему. «Mal» по-французски значит «худо»; «Zeit» по-немецки значит «время». Очевидно, Бебель и Зингер, в виде приветствия, говорили друг другу: «Какие худые времена!» Столь же верны бывали и его другие суждения об европейских и американских делах. Все это был сплошной «Mal-Zeit»! [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

И Алданов, и Горький – горячие русские патриоты. Однако Алданов Россию знает и любит лишь в одном ее «измерении»: там, где обретается русская интеллигенция и всякого рода интеллектуалы. Это отчетливо видно во всех его произведениях, касающихся русской тематики. В этих слоях общества – и здесь он совершенно прав! – Россия смотрится вполне европейской страной и даже, можно утверждать, находится на «высшем уровне» европеизма. Низовых же уровней – то, что в русской литературе обобщенно понималось под определением «народ», Алданов не знает, да и особо знаться с ними не хочет. Они ему чужды, несимпатичны и малоинтересны и, как болезненная гримаса, искажают благородную европейскую личину России.

⁸⁶ В 1879 г. Иван Тургенев первым из европейских беллетристов был удостоен звания почётного доктора Оксфордского университета.

Горький же, напротив, писатель «натуральной школы», бытовик, хотя и рефлексивно-мыслительного склада. Он Россию знает на всех ее уровнях, кроме, аристократического, хотя и в этих слоях общества у него имелось немало знакомств. Как и Алданов, он – типичный русский интеллигент, но интеллигентский слой нисколько не превозносит, скорее наоборот, относится к представителям его с большой долей скептической иронии. У Алданова интеллигенция – самая деятельная и дееспособная часть русского общества, его «интеллектуальный запас». Выходец из презираемого русским Двором еврейства, он дворянство не любит, в равной степени, что и «народ», и по жизни от аристократии предпочитает дистанцироваться.

Для Горького «интеллектуальный запас» России – это городской фабричный люд, в марксистских терминах «пролетариат», за которым он, несмотря на всю его бытовую неприглядность, видит великое будущее. Пролетариат, однако, в «Светлое будущее» ведут – по Горькому и его друзьям-большевикам, все те же интеллигенты, но только те, которые в него уверовали как в «народ Божий».

В отличие от Алданова, Горький именно в качестве такого вот интеллигента пролетарского толка охотно и не без пользы для себя общался с представителями крупной буржуазии и аристократами: был ими привечаем и высоко ценим. Этот феномен зоркий Алданов тоже «ухватил» и вставил в свой литературный портрет Горького:

Кроме природного ума и наблюдательности, у Горького был очень большой жизненный опыт. Русские низы он знал превосходно: он побывал в жизни сапожным подмастерьем, служил в посудной лавке, в лавке икон, был булочником, дворником, ночным сторожем, хористом, не знаю, чем еще. Впоследствии у него появились немалые связи в высшей русской буржуазии и даже отчасти в аристократических кругах [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

В политическом отношении эти два представителя русской интеллектуальной элиты разнятся самым коренным образом. Алданов – прагматик-реформист, опирающийся в своем видении лучшего будущего для России на исторический европейский опыт. Всякая Революция для него – зло, ибо, как показывает история французских революций, ее разрушительная энергия никак не компенсируется высвобождаемой созидательной энергией масс.

Горький же – типичный визионер, слепо верящий в свою мечту и готовый во имя ее реализации поступиться всем и вся. В этом он очень похож на своего друга Ленина, с той лишь разницей, что тот был в первую очередь политик, обладавший, как подчеркивал всегда Алданов, фанатической целеустремленностью, и для достижения своих целей не брезговавший временами выказывать самый циничный прагматизм. Горький – художник романтического склада, восхищающийся красотой своей идеи разрушения основ кондовой русской жизни и ужасающийся способами ее претворения в жизнь. Он накликнул бурю, а когда она разразилась, страшно перепугался. Сердцем он не мог принять все то, что большевики называли «диктатурой пролетариата» – когда во имя Идеи люди уничтожают себе подобных в пароксизме лютой ненависти. Скорее всего, он заставил себя поверить, что «так надо», «что только так и может быть» и что все идет к лучшему – см. об этом в [УРАЛЬСКИЙ М. (III)].

Что касается общественной деятельности, то на этой стезе молодой Алданов до революции себя никак не заявлял. Особенно бросается в глаза его дистанцированность от кровно близкого ему «еврейского вопроса», резко обострившегося с началом войны, когда в стране начали распространяться слухи, что, мол-де, причиной военных поражений русской армии является еврейский шпионаж в прифронтовой полосе, которая проходила по всей «черте оседлости». Эти слухи во многом инспирировались немецкой разведкой, которая провоцировала антисемитские настроения, чтобы как можно более озлобить еврейское население против царской власти. Так, в 1914 г., после начала военных действий, немецкие войска сразу же распространили листовки, содержащие призыв к русским евреям восстать против правительства. Это

дало повод русскому командованию, как только русская армия стала терпеть неудачи, возложить ответственность за них на евреев. В 1915 г. по приказу Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича началось повальное выселение евреев как «политически неблагонадежного элемента» из прифронтовой полосы вглубь России.

Добавим, что обвинения со стороны верховных властей евреев в шпионаже в пользу немцев служили также дымовой завесой, чтобы скрыть действительные факты предательства среди русских штатских военных.

В этой обстановке,

когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма и Леонид вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы,

– писал Горький в очерке «Леонид Андреев», подразумевая под «бороться» учреждение в 1915 г. «Российского общества изучения еврейской жизни» (РОИЕЖ). Инициаторами в этом начинании были Л. Андреев и Ф. Сологуб, патроном Общества стала Императрица Александра Федоровна (sic!), председателем – обер-гофмейстер двора граф И.И. Толстой, в организационный комитет общества вошли Л. Андреев, П. Милюков, М. Горький, А. Куприн. Учреждение РОИЕЖ явилось, по существу, единственной масштабной культурно-просветительской акцией русской интеллигенции в защиту евреев. На одном из первых мест в работе общества стояло издание специальной литературы, не только направленной против антисемитизма, но и рассказывающей о подлинной сути еврейского вопроса в России. В 1915 – 1916 гг. было выпущено несколько подобных книг. Самым известным стал сборник «Щит», появление которого вызвало большой общественный интерес – до Революции книга выдержала три переиздания⁸⁷.

Однако ни в этой, и ни в каких других проеврейских акциях, которые затевал Максим Горький, Алданов участия не принимал (sic!). Более того, в вышецитированной статье «Воспоминания о Максиме Горьком» Алданов, утверждая, что «он сделал немало добра», о защите Горьким евреев, в том числе и еврейских интеллектуало-сионистов, преследовавшихся большевиками – см. об этом [УРАЛЬСКИЙ М. (III). С. 456 – 470], не сказал ни слова.

Единственный раз, когда слово «антисемитизм» появляется в его портретной характеристике Горького, оно звучит как бы между прочим:

Но в отсутствие коммунистов он об их вождях, за одним единственным исключением, отзывался самым ужасающим образом – только разве что не употреблял непечатных слов (он их не любил). Особенно он поносил Зиновьева и зиновьевцев (разумеется, ошибочно приписывать это антисемитизму: по этой части Горький был совершенно безупречен всю жизнь).

Что же касается феномена декларативного горьковского филосемитизма, не сопоставимого ни с чем подобным в европейском литературном сообществе, то в алдановской статье он просто напросто игнорируется.

На сей день не обнаружено каких-либо документов, в которых были бы зафиксированы высказывания Горького о молодом Алданове и о его первых публицистических выступлениях – книгах «Толстой и Роллан» и «Армагеддон». Лишь в письме к биохимику-революционеру А.Н. Баху от 10 апреля 1918 года, говоря о планах Общества «Свобода и Культура», осуществить

⁸⁷ В сборнике принимали участие 37 авторов и среди них такие тогдашние знаменитости, как Л. Андреев, Арцыбашев, Бальмонт, Брюсов, Бунин, Гиппиус, Горький, Вяч. Иванов, Короленко, Мережковский, В. С. Соловьев, Ф. Соллогуб, Тэффи... – см. [УРАЛЬСКИЙ М. (III). С. 456–470].

издание еженедельника, который бы пропагандировал основные принципы культуры и давал читателю возможно полную информацию о деятельности всех культурно-просветительных обществ, клубов, кружков,

– Горький в качестве автора статьи «Роль искусства в воспитании человека» называет Алданова, но в отличие от других авторов не указывает его инициалов – см. [ГОРЬКИЙ (III). Т. 12. С. 89].

С середины 1920-х гг., обретаясь в Сорренто в статусе «советского пансионера», Максим Горький пристально следил за актуальным литературным процессом в СССР и на Западе, особенно в русском рассеянии. Не упускал он из поля зрения публикации своего хорошего знакомого Марка Алданова, ставшего популярным писателем русской эмиграции. Об этом красноречиво свидетельствуют его письма тех лет. Отношение к Алданову, как, впрочем, и ко всем писателям-эмигрантам, у Горького декларативно неприязненное: и всех вместе, и каждого в отдельности, в том числе своих бывших друзей, он поносит почем зря. Исторического романиста Алданова он не столько ругает, сколько «отчуждает», противопоставляя ему «своих» – советских авторов исторических романов Александра Чапыгина, Ольгу Форш, Юрия Тынянова... Не нравится ему ни стиль Алданова, как слишком «сухой», ни его постоянное обращение к «духу» Льва Толстого, с которого, по его мнению, Алданов «списывает» свои исторические романы. По всему чувствуется, что личность Алданова, хотя он и еврей, а Горький всегда подчеркивал свою особую симпатию к евреям (sic!), чужда ему и антипатична.

Здесь надо особо подчеркнуть, что в своем анализе литературных процессов в СССР и русском Зарубежье Горький, с самого начала своей жизни на Западе, держал сторону Советов.

Его сравнительная оценка молодой советской и эмигрантской русской литературы всегда, причем выраженная тенденциозно и декларативно, делалась не в пользу последней. Эмигрантская литература, как и вся эмигрантская среда, по его отзывам находилась в стадии «разложения», «гниения», «одичания», «зверения» и т.п. Вот один только пример из письма Горького А.П. Халатову от 17 декабря 1927 года (Сорренто):

Не менее поучителен и процесс разложения «рафинированной» интеллигенции нашей в Париже, Берлине и других Вавилонах, любопытно прочесть о русских фашистах<...>, о забвении русского языка, о жесточайшей склоке среди эмигрантских кружков и т.д. и т.п. – вообще обо всем том, что свидетельствует, как быстро дичают и звереют люди, которые 10 – 15 лет тому назад считали себя духовными потомками Герцена, Белинского, Добролюбова... [ГОРЬКИЙ (III). Т. 17. С. 123].

Столь выраженное и несправедливое с фактической точки зрения отношение к литераторам русского Зарубежья, большая часть которых еще совсем недавно входила в его дружеский круг, несомненно, отражает боязнь записного правдолюбца вызвать на свою седую голову гром и молнии со стороны Советского руководства и, как следствие, лишиться совдеповской кормушки. Даже о намеке на объективность и сочувствие к изгнанникам со стороны «великого русского гуманиста» здесь говорить не приходится. Увы!

Имя Алданова встречается в письмах Горького только в период с 1924 по 1927 гг. – см. [ГОРЬКИЙ (III). Т. 14 – 16]:

М.Ф. Андреевой.
4 февраля 1924, Мариенбад

Получил твое – очень хорошее – письмо о Ленине. Я написал воспоминания о нем, говорят – не плохо. На днях пошлю <...> для печатания на машинке, что прошу сделать скорее... ибо их надобно печатать в Америке,

Франции и России. Писал и – обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот – пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех.

<...>

И отовсюду пишут письма, полные горя глубочайшего, искреннего. Только эта гнилая эмиграция изливает на Человека трупный свой яд, впрочем – яд, неспособный заразить здоровую кровь. Не люблю я, презираю этих политиканствующих эмигрантов, но – все-таки жутко становится, когда видишь, как русские люди одичали, озверели, поглупели, будучи оторваны от своей земли. Особенно противны дегенераты Алданов и Айхенвальд.

Жалко, что оба – евреи [ГОРЬКИЙ (III). Т. 14. С. 97]⁸⁸.

С.Ф. Ольденбургу.

12 февраля 1924, Мариенбад

Дорогой Сергей Федорович! <...> Как Вы живете? За Вашу речь по поводу смерти В. Ильича Вас здесь зачислили в «услугающие» Советской власти. Пресса эмигрантов окончательно впадает в идиотизм. Вы знаете, что я в достаточной мере терпимый человек, но все, что писалось и пишется здесь сейчас о Ленине и о России – совершенно невыносимо! Это нечто позорное и позорящее интеллигенцию в глазах Европы, – той, конечно, которую представляет Р. Роллан и подобные ему честные люди. Особенно отвратительно держится «Руль» и одна из наиболее гнусных статей о Ленине – статья Ю. Айхенвальда. Грязно написал и Алданов-Ландау. И – все бездарно, бездарно до тоски! Не буду утруждать Вас описанием этого разложения и гниения, не стоит!

Ф.А. Брауну.

8 ноября 1924, Сорренто

Дорогой Федор Александрович,

Из серии научно-популярной в Россию не пройдут, – а, если и пройдут случайно, то вызовут раздражение – книжки: Кон. Руководящие мыслители. Рихтер. Введение в философию. Алданов. Загадка Толстого и Аничков о «Современной поэзии». Вообще, эта серия – издание без плана и том читателе, коему книжки предлагаются⁸⁹ [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 79].

К.А. Федину.

3 июня 1925, Сорренто

⁸⁸ Речь идет о статьях Ю.И. Айхенвальда «Безвременная смерть» в берлинской газете «Руль» и М.А. Алданова «Неправдоподобный сценарий» в парижской газете «Дни», опубликованных одновременно – 27 января 1924 года. Статья Айхенвальда начиналась словами: «Как бы ни относиться к Ленину и его памяти, все должны признать одно: сколько бы не умерли, если бы он умер раньше!» Алданов так же высказывался нелицеприятно: «Вся жизнь Ленина – неправдоподобный сценарий <...>. Это был человек в политическом отношении совершенно бесчестный и бессовестный <...>. Судьба жестоко его покарала не только в области идеологии. Трагическое безумие Ленина даст тему не одному драматургу грядущих столетий. Он умер вовремя. Я надеюсь, что палачи и убийцы остановились бы у дверей сумасшедшего дома» [ГОРЬКИЙ (III). Т. 14. С. 669].

⁸⁹ Здесь обсуждаются статьи для журнала «Беседа», выходившего в Берлине с 1923 по 1925 год и ставившего своей целью информировать Россию «о состоянии литературы и науки в Европе и Америке». Всего вышло семь номеров. Однако несмотря на все усилия Горького (который в знак протеста даже отказался печататься в советских изданиях), «Беседу» так и не пропустили в советскую Россию.

С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев бездарно пишет жития святых, Шмелев – нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет, – пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь». Алданов – тоже списывает Л. Толстого⁹⁰. О Мережковском и Гиппиус – не говорю. Вы представить не можете, как тяжело видеть все это [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 197].

В письме к М.И. Будберг от 21 декабря 1925 (Неаполь) Горький просит:

Дорогой друг —

<...>

Привезите мне <...> «Чертов мост» Алданова. А, главное, как можно больше денег [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 330].

В контексте горьковского восприятия Алданова-писателя и его исторической прозы очень интересны письма К.А. Федину от 10 февраля 1926 года (Неаполь), И.М. Касаткину от 13 февраля 1926 года (Неаполь) и А.П. Чапыгину от 20 мая 1927 года (Сорренто).

Дорогой Федин, посылаю Вам «Дело Артамоновых». Прочитав, сообщите, не стесняясь, что Вы думаете об этой книге <...>. О личном моем мнении я, пока, умолчу, дабы не под сказывать Вам тех уродств, которых Вы, м.б., и не заметите. Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются «Кюхлей» Ю. Тынянова⁹¹. Я тоже рад, что такая книга написана. Не говорю о том, что она вне сравнения с неумными книжками Мережковского и с чрезмерно умным, но насквозь чужим «творчеством» Алданова, об этом нет нужды говорить. Но вот что я бы сказал: после «Войны и мира» в этом роде и так никто еще не писал. Разумеется, я <...> Тынянова с Толстым не уравниваю <...>. Однако у меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха «Кюхли» [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 374].

Здесь, вообще, нет литературы. Кончается Бунин, самый крупный и прекрасный художник. Куприн все еще пьет. Шмелев – привычно плачет. Блаженный Борис Зайцев пишет жития святых. Есть «исторический романист» Алданов, более умный и не менее начитанный, чем Мережковский, но – у него нет таланта, и пишет он не плохо лишь потому, что хорошо прочитал «Войну и мир» [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 378].

Дорогой Алексей Павлович, – об успехе «Разин»⁹² мне писал Тихонов <А.Н.>, писали из Петербурга, из Нижнего, Смоленска. Вы, разумеется, понимаете, как я рад! А на днях у меня был П.С. Коган, взял первый том, прочитал и согласился со мною, что это поистине исторический роман, он сказал даже «убедительно исторический». Очень удивлен был широтой Ваших

⁹⁰ Вероятно, речь идет о третьем историческом романе Алданова «Чертов мост», посвященном истории Швейцарского похода Суворова 1799 г., когда русские войска, продемонстрировав высокое тактическое искусство и героизм, захватили стратегически важный «Чёртов мост» через реку Рёйс в Швейцарских Альпах. В журнальном варианте книга печаталась в «Современных записках» (Париж). 1924. Кн. XIX, XXI; 1925. Кн. XXIII, XXV; Отд. издание: Берлин: Слово, 1925. Роман является третьей частью тетралогии «Мыслитель», охватывающей события европейской и русской истории 1793–1821 гг. К моменту написания письма уже вышли в свет два романа из этой серии: «Святая Елена, маленький остров» (1921) и «Девятое термидора» (1921–1922) [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 629–630].

⁹¹ Получившая широкое признание у читателей книга Тынянова о лицейском друге Пушкина, поэте-декабристе Вильгельме Карловиче Кюхельбекере (*Тынянов Ю. Кюхля: Повесть о декабристе*. Л.: Кубуч, 1925), была, как отмечалось выше, высоко оценена так же и Алдановым.

⁹² Имеется в виду исторический роман Чапыгина «Разин Степан» (1924–1927).

знаний и умением пользоваться ими: всего – много, но – ничего лишнего. Для меня Ваша книга не только исторический – по содержанию – роман, но еще и нечто необходимое для истории русской литературы, и «указатель», как надобно писать на сюжеты истории. Здесь, среди эмиграции, в славе Алданов-Ландау, автор тоже «исторических» романов; человек весьма «начитанный», он пишет под «Войну и мир» и так поглощен Толстым, что этого не может скрыть даже его пристрастие к Анатолю Франсу⁹³. Писатель – мудрый, но сухой, как евангельская смоковница [ГОРЬКИЙ (III). Т. 16. С. 336].

Касаясь письма Горького Федину, где говорится о «чужом “творчестве” Алданова», Александр Бахрак ровно через 50 лет написал такой вот комментарий, оказавшийся по сути своей пророчеством:

Вероятно, не случайно в одном из писем Федину Горький, говоря об Алданове, характеризует его, как писателя «чрезмерно умного, но с чужим насквозь творчеством», ставя это последнее слово в кавычки. Эти кавычки едва ли делают честь Горькому, и, собственно, что в его устах означает слово «чужой»? С точки зрения будущей истории литературы есть ли в горьковской оценке что-либо по-настоящему уничижительное? Не будем заглядывать в будущее и гадать. Ведь может легко статься, что именно эта «чужеродность» алдановского поставленного в кавычки «творчества», которую ощутил не всегда искренний в письмах Горький, окажется залогом того, что книги Алданова еще будут жить и найдут читателей, когда многое из того, что создавалось по «горьковским» канонам, давно истлеет [БАХРАК (II). С. 158].

Со своей стороны, Алданов уже в начале 1920-х гг., когда Горький, оказавшись на Западе, заявлял публично о своих расхождениях с большевиками (хотя и получал от них деньги на жизнь!), писал о нем жестко и нелюбезно:

При советском строе единственной конституционной гарантией является доброта руководителей Чрезвычайки. Не сомневаясь ни в искренности большевистских симпатий Максима Горького, ни в его личной порядочности, я вынужден заключить, что он двадцать пять лет боролся с самодержавием, совершенно не понимая, во имя чего ведется эта борьба [АЛДАНОВ (XIV). С. 4].

С конца 1920-х гг. Алданов и Горький разошлись окончательно и навсегда. И если Горький посчитал за лучшее об Алданове «забыть», то Алданов запомнил его на всю жизнь. Отзываясь, как писатель-эмигрант и политический противник, о Горьком резко критически, он, тем не менее, одновременно всегда старался показать его и с лучшей стороны. Об этом, в частности свидетельствуют «Воспоминания о Максиме Горьком», где Алданов, говоря о безоговорочной капитуляции старого писателя-демократа перед тоталитарным сталинским режимом, старается хоть как-то да подсластить горькую пилюлю:

покорившись окончательно партии, Горький мог ей пригодиться. Он мог бы, например, быть «президентом республики»... <...> Для общественного мнения Западной Европы и Америки такой президент был бы совсем хорош. Однако Ленин ему подобного поста никогда и не предлагал. <...> Но не предложил ему высокой должности и Сталин после того, как Горький вернулся из Италии в СССР, после того, как он в 1929 году окончательно, «на все сто процентов», принял советский строй, включая и личный культ нового

⁹³ См. главу «Алданов и Анатолий Франс» («Aldanov et Anatole France») в [TASSIS (I). P. 335–390].

диктатора, и массовые расстрелы, и концентрационные лагеря, которые он посещал в качестве благосклонного либерального сановника в сопровождении видных чекистов. То, что Горькому высоких постов все-таки не предложили, свидетельствует, конечно, в его пользу.

Завершим тему личных отношений между Алдановым и Горьким выдержкой из письма Алданова к Бунину от 21 июля 1927 года, в котором он сообщает:

Разумеется, я решил... отказаться от участия в сборнике – как и Вы, с Горьким я печататься рядышком не намерен [ГРИН (II). С. 279].

Интересно, что Горькому, объявленному основоположником метода «социалистического реализма», для которого в литературе, как, впрочем, и в других видах искусства, на первое место выступала «идея», призванная просвещать, организовывать и направлять массы, романы Алданова, которые действительно являются романами идей, не нравились. Алданов утверждал, что при оценке любого романа необходимо, опираясь на триаду: действие, характер, стиль, добавить к ней также идею. Вполне в духе советского литературоведения он полагал, что все большое искусство – суть идеология, оно основано на идеях и служит какому-то делу. Для советских писателей этим делом было воспитание трудящихся масс, для Алданова – проповедь гуманизма и калогатии как единственно возможной основы повседневного человеческого существования. Вместе с тем, над прозой Алданова не довлеет какая-то ярко выраженная духовная идея, как у Максима Горького, он не декларирует своего нравственно-этического учения, как Лев Толстой, не ищет ни нового Откровения, ни новых догматов, чтобы приблизить эру Св. Духа, третьего завета, «вечного Евангелия», о котором пророчествовал в эмиграции Дмитрий Мережковский. Его размышления, как и у Достоевского, которого он не любил, это философствование экзистенциального типа – см. [МАСЛИН].

Для Горького, несмотря на его одержимость идеей создания Нового Человека, в литературе все же на первое место выступал принцип «художественности», и поэтому он считал, что Алданов – «Писатель – мудрый, но сухой». Возможно также, что он ревновал к огромному успеху книг Алданова среди русской эмиграции и у западного читателя.

В личной библиотеке Горького (Музей-квартира М. Горького в Москве) хранится книга «Толстой и Роллан» [АЛДАНОВЪ М.А.] с довольно таки странной дарственной надписью Алданова: «Творцу “На дне” и “Детства” долг искреннего удивления. Автор. 9/XI 1915». Однако со стороны Горького, столь чутко относившегося к имени Льва Толстого, в тот самый год, когда его будущий «французский друг» Ромен Роллан был удостоен Нобелевской премии по литературе, никакой публичной реакции на эту алдановскую книгу не последовало. По-видимому, мировоззренческие концепции Алданова, которые он развивал в своем «раскрытии» духовного образа Льва Толстого, были Горькому чужды или неинтересны, хотя в области литературных вкусов и предпочтений между ним и Алдановым никаких принципиальных разногласий явно не возникало. Это наглядно демонстрирует позиция, занятая ими в полемике на тему «Л. Толстой и Достоевский», которая развернулась в интеллектуальных кругах русского общества после выхода в свет одноименной книги Дмитрия Мережковского⁹⁴.

Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволюционного периода. <...> Но вот что все-таки бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение.

<...>

⁹⁴ Монография «Л. Толстой и Достоевский», часто именуемая литературно-критическим эссе, вначале публиковалась в журнале «Мир искусства» (1900–1902 гг.). Впоследствии неоднократно выходила отдельными изданиями и публиковалась в собраниях сочинений Д. С. Мережковского.

Нет, вспоминая <...> то, что занимало «русских мальчиков» – по Достоевскому – в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что <...> с литературой была у них связь какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним «мальчикам» и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира, – а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения.

<...>

Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы <...>. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. <Его> книга о Толстом и Достоевском <...> был<а> возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. <...> ...книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, – особенно в части, касающейся Толстого⁹⁵, – но в ней дан новый углубленный взгляд на «Войну и мир» и «Братьев Карамазовых», взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно [АДАМОВИЧ (II). С. 39–392].

Дмитрий Мережковский, энциклопедически эрудированный интеллектуал, оригинальный отечественный мыслитель, эссеист и литературный критик, являлся популярным в начале XX в. в Европе русским писателем⁹⁶. Яркий представитель русской культуры «серебряного века», он вошел в историю литературы как один из ведущих русских символистов. Начиная с 1914 г.⁹⁷, Мережковский 10 раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В 1901 г. Д.С. Мережковский писал «<...> горе наше или счастье в том, что у нас действительно “две родины – наша Русь и Европа”, и мы не можем отречься ни от одной из них, – мы должны или погибнуть, или соединить в себе оба края бездны». Алданов, последовательно соединявший в своем творчестве российские и европейские литературные и философские традиции, как нельзя более точно последовал заветам своего старшего современника [ЛАГАШИНА (I). С. 25].

Хотя в дневниках Гиппиус предреволюционных лет – [ГИППИУС-ДН], Марк Ландау не упоминается, и сам Алданов ничего на сей счет не пишет, тем не менее, можно считать несомненным, что до революции они были знакомы друг с другом. Более того, в первой книге Алданова «Толстой и Роллан» (1915 г.), о которой речь пойдет ниже, четко прослеживается влияние знаменитого сочинения Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» – как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики [ЛАГАШИНА (I). С. 27].

⁹⁵ По сообщению Е.А. Андрущенко, Лев Толстой лично всегда отрицал, что читал книгу «Л. Толстой и Достоевский». Так, например, Г. Адамович приводит рассказ Л. Шестова о его поездке к Л. Толстому, который признался, что не знает о книге Мережковского (Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. Париж: La Presse Libre, 1983). Сам Толстой в письме к студенту А. Бархударову писал, что эту книгу не читал и читать не будет (Письмо о Мережковском / В кн.: Толстой и о Толстом. Новые материалы. Кн. 1. М.: Издание Толстовского музея, 1924).

⁹⁶ Начало европейской славы Мережковского положила публикация в 1900 г. в переводе на французский его историсофского романа «Юлиан Отступник».

⁹⁷ В этом году издательством Д.И. Сытина было выпущено 24-х томное собрание сочинений Мережковского.

В эмиграции отношения между этими литераторами стали весьма близкими. Дмитрий Мережковский, являющийся вторым после Льва Толстого основоположником русского историко-философского (историософского) романа, всегда был в глазах Алданова не только очень уважаемым писателем, но и в высшей степени интересным и приятным в общении человеком.

Нередко Алданов хлопотал за Мережковского, стараясь, как и в случае с Буниным, скрывать его тяжелую, из-за отсутствия средств к существованию, жизнь. Об этом, в частности, свидетельствует его письмо Василию Маклакову от 2 декабря 1931 года:

Дорогой Василий Алексеевич.

Большая просьба к Вам, – и от меня, и от Д.С. Мережковского. Он находится в очень тяжелом материальном положении. Хочет устроить вечер, и для этого, естественно, нужен «Комитет». Очень Вас просим согласиться на включение Вашего имени в состав Комитета (как Вы согласились сделать для Бунина). Разумеется, делать Вам ничего не надо, и список в газетах опубликован не будет. Войдут Манухин, Махонин, Кульман, я. Предполагается просить еще Милюкова.

Жаль старика, хотелось бы ему помочь. Он знаменит на весь мир, а жить ему нечем.

<...>

Глубоко уважающий Вас М. Алданов [МАКЛАКОВ. С. 23].

С большим уважением, без каких-либо оговорок, Алданов отзывается об этом колоритном деятеле русского «Серебряного века» в статье-некрологе «Д.С. Мережковский» (1941 г.):

Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разносторонней культуры – один из ученейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! <...> Д. С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно «Леонардо да Винчи», в разных переводах можно было найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной – очень большой – идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, – чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о «последователях». Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный <...>, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды.

– Я был молод, – вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, – мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки.

<...>

Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: «Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили, святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святыне. Зато его слова доньше – как

чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями»,

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно – калялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д.С. Мережковский считал религиозность основной, главной и драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых «русских» писателей России, никак не укладывался в его основное положение. «Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, – само по себе, а современная культура – сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя», – писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года.

<...>

Однако так же трудно было Д.С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой.

<...>

... мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С<ергееви>ча с его идеями практическими. Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот «приводный ремень» от меня неизменно ускользал. <...> так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга «Толстой и Достоевский» положила начало новейшей русской критике. <...> Мережковский первый, с чрезвычайной пронизательностью и остротой, понял и объяснил его художественные приемы (точнее, часть его художественных приемов).

<...>

...где бы Д.С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди, совершенно чуждые идеям Д.С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был «текучий» и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы.

<...>

Как исторический романист Д.С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и исторической

правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере всей русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова «религиозный характер» не очень определены: когда нужно, под ними понимают «общественное служение», и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о «светлом приятии жизни» (Пушкин), о «любви и жалости к людям» (тот же Чехов). Но Д.С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше.

<...>

Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны, – их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист «божьей милостью». <...> приведу лишь несколько его строк: «К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. – М.А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя – и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами». Так до него писали немногие.

<...>

Личное обаяние, то, что французы называют *charme*-ом «шармом», у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д.С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о «самом главном» (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской земли [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

Без веры давно, без надежд, без любви,
О, странно веселые думы мои!

Во мраке и сырости старых садов —
Унылая яркость последних цветов⁹⁸.

Под «ошибками» Алданов, несомненно, в первую очередь, имел в виду общественно-политическую активность Мережковского в эмиграции. Выдвинув тезис, что «русский

⁹⁸ Стихотворение Д. Мережковского «Веселые думы» (1900 г.)

вопрос – это всемирный вопрос и спасение России от большевизма – основная задача и смысл западной цивилизации», Мережковский пытался, пользуясь своей европейской известностью, донести его до сознания руководителей тоталитарных режимов – Муссолини, Франко и Гитлера. Он сумел, в конце концов, привлечь к себе. «Великий Дуче» даже нашёл время, чтобы несколько раз встретиться с русским писателем и поговорить с ним о политике, искусстве и литературе. В ходе этих встреч Мережковский убеждал дуче в необходимости начать «священную войну» с Советской Россией.

Христианский социалист Мережковский, являвшийся, отметим, в России активным борцом с антисемитизмом и национал-патриотической ксенофобией, осознавал опасность фашизма как идеологии. Однако он придумал концепцию, что большевизм и национал-социализм при военном столкновении уничтожат друг друга, и, находясь в плену этих иллюзорных представлений, заявил себя сторонником немецкого военного экспансионизма.

Летом 1941 г., вскоре после нападения Германии на СССР, «друзья» привели больного, впавшего в отчаяние из-за нищеты старика-писателя, на немецкое радио в оккупированном Париже. Мережковский перед микрофоном произнес речь «Большевизм и человечество», в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма» и назвал Гитлера избранником, призванным спасти мир от власти дьявола. Из-за этой речи, которая мало кем была услышана, Мережковский и Гиппиус были зачислены в разряд «коллораборационистов» и стали персонами нон грата в эмигрантском сообществе. А шесть месяцев спустя, 9 декабря 1941 года Дмитрий Мережковский, отнюдь не обласканный нацистами, скончался в Париже.

Алданов, у которого от рук нацистов погибли близкие и который по этой причине особенно чувствительно относился к обвинениям тех или иных лиц из числа его знакомых в сотрудничестве с нацистами, тем не менее, ни разу не бросил камень в Мережковского. Напротив, после войны он, пусть и в достаточно уклончивой форме, старался как-то обелить его имя⁹⁹. Это явствует, в частности, из его письма к Георгию Адамовичу от 16 апреля 1946 года:

Вы, как и Бунин, и Сирин, находите, что я переоцениваю Мережковского. Думаю, что с Вами это у меня больше спор о словах. Может быть, «большой» слишком сильное слово («великих» писателей, по-моему, после Толстого и Пруста в мире вообще не было и нет, да и насчет Пруста еще «можно спорить»), но «Толстой и Достоевский» – вещь замечательная, и в самом Мережковском, как Вы, впрочем, признаете, были черты необыкновенные. Помню, когда-то в разговоре со мной в Петербурге это признал М. Горький. Как самоучка, и самоучка немногому научившийся, он особенно ценил познания и культуру Мережковского. Повторяю, с Вами мы едва ли очень тут расходимся [...НЕ-СКРЫВ-МНЕНИЯ. С. 299].

Мережковский, несомненно, оказал определенное мировоззренческое влияние на Алданова, но, судя по его высказываниям в письме к А.В. Амфитеаторову от 28 декабря 1927 года, отнюдь не как беллетрист:

Не обмолвка ли Ваши слова о влиянии на меня Д.С. Мережковского?¹⁰⁰
Мы с ним в самых добрых отношениях, и как критика я его очень ценю –

⁹⁹ Основной причиной «помрачения разума» Мережковского и, как следствие, его перехода из либерально-социалистического в фашистский лагерь, являлась беспросветная нищета, в которую писатель и его жена впали с конца 1930-х гг. Фашистские диктаторы, в первую очередь Муссолини, были для Мережковского единственной «кормушкой». Но, отработывая свой хлеб, Мережковский никаких «гадостей» не писал, и Алданову это было хорошо известно.

¹⁰⁰ Речь идет о пяти первых статьях Амфитеаторова о творчестве Алданова, вышедших под общим заголовком «О русском историческом романе» (За Свободу! 1925. № 231, 243, 249, 253 и 258). В заключительной статье этого цикла, в частности, говорилось: «В г. М. Алданове учительство Мережковского состязается с учительством Толстого. Молодому эклектику очень хотелось бы влить толстовскую живую жизнь в скульптурные формы и архитектурные схемы Мережковского» [ПАР-ФИЛ-

особенно первый том «Толстого и Достоевского». Но как романист (если он романист) он мне более чем чужд – я просто не переношу его романов. Он ведь и не пытается сделать своих героев похожими на живых людей. А в этом, по-моему, все. Мережковский играет в схемы и в идеологические куколки. Мне всегда казалось, что его беллетристика – сплошное недоразумение. Я это когда-то и писал, но Вам говорю свое откровенное мнение, разумеется, в конфиденциальном порядке. С историей Дмитрий Сергеевич, по-моему, церемонится тоже много меньше, чем полагается историческому романисту. Не приписывайте, пожалуйста, этих моих слов обиде или излишнему самолюбию. Влияний я испытал немало, но этого не было ни в какой мере [ПАР-ФИЛ-РУС- ЕВ. С. 543].

В историко-литературном плане представляет интерес точка зрения – см. [ЗОЛОТОНОСОВ], согласно которой Алданов в романе «Пещера» (1931 г.) явно использует сценарий суицида, а также цитирует по-французски некоторые детали из некролога, помещенного в парижских газетах после гибели брата Дмитрия Мережковского – Константина Сергеевича, покончившего с собою 9 января 1921 г. в гостиничном номере «Hotel des Families» в Женеве.

Константин Сергеевич Мережковский – крупный биолог конца XIX – начала XX века – «другой Мережковский». Самый любопытный и колоритный русский извращенец XIX–XX веков, самая яркая и цельная личность Серебряного века, «русский маркиз де Сад», как его с полным основанием именовали шокированные современники, антисемит и «союзник» (имеется в виду Союз русского народа) прожил жизнь полную противоречий, высказал идеи, которые не были приняты его современниками и забыты на 100 лет, и только в последние десятилетия его идеи возрождены. Как философ, он тонко ощутил развитие основной темы века XX – темы воли к власти. Он был человеком прорыва: и в науке, и в философии, и в морали. Однако его не пустили в историю философии, культуры и науки, глухим молчанием окружили его роман «Рай земной», и эпохальное научное открытие, содержащееся в работе 1909 г. «Теория двух плазм». В успехе ему было отказано – так политические противники свели с ним счёты, а благонамеренные не дали образоваться научной репутации [ЗОЛОТОНОСОВ. С. 626–628].

Доброе, злое, ничтожное, славное, —
Может быть, это всё пустяки,
А самое главное, самое главное,
То, что страшней даже смертной тоски, —

Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви – всего;
Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, —
Грубость, дикость – и в них торжество.

Может быть, всё разрешится, развяжется?
Господи, воли не знаю Твоей,
Где же судить мне? А все-таки кажется,

Можно бы мир создать понежней!¹⁰¹

В статье «Мои встречи с Алдановым» Георгий Адамович, говоря о коллективных беседах русских литераторов эпохи «Серебряного века» отмечает, что их разговоры почти всегда кончались Толстым и Достоевским – как, вероятно, будут на них и ими кончатся русские разговоры еще долго, лет сто, если не больше. Это завещанный нам, всей русской судьбой очерченный нам круг, из которого не выйдешь [АДАМОВИЧ (I)].

Не вызывает сомнений, что и Алданов с Горькими говорили на эти темы. Естественно, что речь заходила и о сравнительных оценках, в современных терминах – о рейтинге, месте на оценочной литературной шкале: «Кто «больше»?» Оба они, хотя и каждый по-своему, декларативно не любили Достоевского и боготворили Льва Толстого.

Алданову, впрочем, малейшее сомнение насчет того, кто «больше», представлялось нелепостью и даже кощунством, хотя о Достоевском он говорил если и с холодком, то без бунинского, с каждым годом усиливавшегося пренебрежения. Кстати, когда-то в присутствии Бунина он сказал, по моему очень верно, что великая русская литература началась лицейскими стихами Пушкина и кончилась на «Хаджи-Мурате» [АДАМОВИЧ (I)].

Адамовичу также принадлежит верное и точное замечание о том, что

В разных формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех [АДАМОВИЧ (II). С. 393].

Подобного рода точка сегодня является общепринятой: русская литература XX века пошла по стопам Л. Толстого, и, как пишет Иосиф Бродский в статье «Катастрофы в воздухе», в силу этого оказалась оторванной от мирового художественного процесса:

... близость во времени Достоевского и Толстого была самым печальным совпадением в истории русской литературы. Последствия его были таковы, что, вероятно, единственный способ, которым Провидение может защитить себя от обвинений в бесчестной игре с духовным строем великого народа, это сказать, что таким путем оно помешало русским слишком близко подойти к его тайнам. Ибо кто лучше Провидения знает, что кто бы ни следовал за великим писателем, он вынужден начинать именно с того места, где великий предшественник остановился. А Достоевский, вероятно, забрался слишком высоко, и Провидению это не понравилось. Вот оно и послало Толстого – как будто для того, чтобы гарантировать, что у Достоевского в России преемников не будет.

Так и вышло: их не было. <...> русская проза пошла за Толстым, с радостью избавив себя от восхождения на духовные высоты Достоевского. Она пошла вниз по извилистой истоптанной тропе миметического письма и через несколько ступеней – через Чехова, Короленко, Куприна, Бунина, Горького, Леонида Андреева, Gladкова – скатилась в яму социалистического реализма. Толстовская гора отбрасывала длинную тень, и чтобы из-под нее выбраться, нужно было либо превзойти Толстого в точности, либо предложить качественно новое языковое содержание [БРОДСКИЙ. С. 193].

¹⁰¹ Стихотворение Д. Мережковского «Главное» (1930).

Иосиф Бродский «зрит в корень», ибо начавшаяся в «Серебряном веке» борьба вокруг литературного метода Достоевского шла именно по линии раздела модернизм – критический реализм. Если Мережковский и другие символисты превозносили Достоевского, то Горький, Бунин и все писатели-бытовики недолюбливали его как художника, хотя на сей счет предпочитали помалкивать. В этом отношении Горький был, пожалуй, первой литературной знаменитостью, посмевавшей в начале XX в. замахнуться на одну из «священных коров» русской литературы, классика и властителя умов русской интеллигенции Федора Михайловича Достоевского. Сделал он это со свойственной ему полемической страстью и дидактичностью в двух статьях от 1913 г.: «О Карамазовщине» и «Еще раз о Карамазовщине»¹⁰², написанных по поводу готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф.М. Достоевского «Бесы» под названием «Николай Ставрогин». Статьи эти вызвали большой общественный резонанс. Горький по существу обвинил прогрессивную русскую интеллигенцию в лицемерии. Ибо, признавая, что

...Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников «зоологического национализма», который ныне душит нас; хотя он – хулиатель Грановского, Белинского и враг вообще «Запада», трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он – ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности, – господа литераторы, тем не менее, ставят его имя вне критики, полагая, что его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского...

Горький выступил не против Достоевского-художника, а против возведения вскрытую и гениально описанную им «темную область эмоций и чувств, да еще особенных, “карамазовских”, злорадно подчеркнутых и сгущенных» в ранг *определяющих* «признаков и свойств национального русского характера»:

Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжелой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается.

<...>

Достоевский – сам великий мучитель и человек больной совести – любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу. Но все мы хорошо чувствуем, что Федор Карамазов, «человек из подполья», Фома Опискин, Петр Верховенский, Свидригайлов – еще не всё, что нажито нами, ведь в нас горит не одно звериное и жульническое! Достоевский же видел только эти черты, а желая изобразить нечто иное, показывал нам «Идиота» или Алешу Карамазова, превращая садизм – в мазохизм, карамазовщину – в каратаевщину. Платон Каратаев, как и Федор Карамазов, живые, по сей день живущие вокруг нас люди; но возможно ли существование народа, который делится на анархистов-сладострастников и на полумертвых фаталистов?

¹⁰² Первая статья появилась в газете «Русское слово», 1913 г., номер 219, 22 сентября, с подзаголовком «Письмо в редакцию». Вторая статья была напечатана в той же газете, в номере 248 от 27 октября, с подзаголовком «Открытое письмо».

Очевидно, что не эти два характера создали, и хотя медленно, а все-таки развивают культуру России [ГОРЬКИЙ. Т. 24].

Здесь следует не упускать из виду, что Горький, выступая с критикой Достоевского в целом, не о «нездоровых нервах общества»¹⁰³ пекся, а, старался помешать готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф.М. Достоевского «Бесы» под названием «Николай Ставрогин».

<...>

Большевистская печать оценила статью М. Горького как выступление большой политической значимости. Газета «За правду» (одно из названий газеты «Правда») 4 октября 1913 года в статье М.С. Ольминского «Поход против М. Горького» так определила сущность полемики: «...на вопросе о Достоевском столкнулись два мира. Пролетарский мир, в лице М. Горького, выступил против соглашения с реакцией, против антисемитизма, против неблагородства человеческой души. И против него – другой мир, готовый обниматься и с реакцией и с антисемитизмом, готовый продать своё «благородство души» первому, кто пожелает выступить покупателем [ГОРЬКИЙ (II)].

За фасадом полемики крылось очевидное нежелание «буревестника Революции» и его товарищей по партии, чтобы широкая публика видела на сцене бесчестно-бесовские образы русских революционеров. В отличие от Достоевского, Горький прославлял революционеров, делая в своих произведениях заявления типа:

Он, конечно, революционер, как все честные люди в России...¹⁰⁴

Свое отношение к «жестокому таланту»¹⁰⁵ Достоевского Алданов впервые высказал в 1918 г. в публицистическом эссе «Армагеддон», где «великого писателя земли русской» он называет «черным бриллиантом» русской литературы. Впоследствии, как и у Горького, его восприятие идей, образов и стилистики Достоевского будет носить двойственный характер: от категорического осуждения, до восхищения и даже своего рода подражания. Созданный Алдановым портретный образ Достоевского в романе «Истоки», использование ряда его художественных приемов, а главное – постоянная полемика с его идеями и персонажами, делает Достоевского-мыслителя одним из оппонентов № 1 в алдановском постреволюционном философском дискурсе. В одном из последних своих произведений «Ночь в терминале» (1948 г.) Алданов, как бы апеллируя к трагическому опыту только что закончившейся Второй мировой войны, жестко отвергает одну из концептуальных идей Достоевского – «Об очищении страданием»:

Нет, нет, человек лучше, гораздо лучше своей подмоченной репутации. Он только очень слаб и очень несчастен. Ну что «очищение страданием», зачем «очищение страданием»? Дайте бедным людям возможность немного очиститься счастьем, и вы увидите, как они будут хороши. Нет, философия Достоевского, при всей ее беспредельной глубине, покоится на серьезной

¹⁰³ В примечании редакции к статье «О Карамазовщине» говорится: «В письме, сопровождающем настоящее письмо в редакцию, сам автор так определяет свою задачу: “Я глубоко убежден, что проповедь со сцены болезненных идей Достоевского способна только ещё более расстроить и без того уже нездоровые нервы общества”».

¹⁰⁴ Из пьесы Горького «Последние» (1908 г.), одобрительно воспринятой Лениным – см. [ГОРЬКИЙ (I)] и запрещенной к постановке в царской России.

¹⁰⁵ «Жестокий талант» – критическая статья Николая Михайловского о творчестве Достоевского в журнале «Отечественные записки» (1882 г.), в которой впервые писателю был брошен упрек, что «страстным возвеличением страдания» он причащает общество к покорному восприятию жестокостей и насилия.

психологической ошибке. Вдобавок его мысль была довольно безнравственна: если страдание очищает людей, то какой-нибудь Гитлер был благодетелем человечества [АЛДАНОВ (XVIII). С. 22].

В своем труде «Л. Толстой и Достоевский» Дмитрий Мережковский, противопоставляя этих гениев русской литературы друг другу, тактично избегает оценивать их место в русской культуре по принципу «выше» – «ниже», хотя, будучи христианским мыслителем, несомненно, ставит на первое место в негласной, прочитывающейся из подтекста, табели о рангах своего кумира Достоевского.

Алданов куда более прямолинеен и категоричен: для него, как это отметил Георгий Адамович, и очевидным и безусловным представляется, что на верхах русской литературы Толстой – он один <...>, и если когда-либо появлялся пророк среди русских писателей, то это опять-таки был Толстой, а не Достоевский.

По свидетельству того же Георгия Адамовича, с которым Марк Александрович особенно сблизился после Второй мировой войны, Алданов «произносил эти два слова “Лев Николаевич” почти так, как люди верующие говорят “Господь Бог”». В оценке того или иного литературного произведения он часто ссылался на его мнение. Вот, например, такой эпизод из статьи «Мои встречи с Алдановым»:

с необычным для себя волнением <Алданов> заговорил о последней главе «Онегина», которую, очевидно, дома перечел. «Да, да, изумительно, совершенно изумительно! – повторял он и добавил: – Кажется, и Льву Николаевичу это очень нравилось». Не знаю, на чем была основана его ссылка на Толстого – ни в одной известной мне книге такого указания нет, – но само по себе его обращение к Толстому за поддержкой своего восхищения было характерно [АДАМОВИЧ (I). С. 112].

Толстой являлся не только «собеседником», но также и главным интеллектуальным оппонентом Алданова: в своих размышлениях он постоянно, то отталкивается от него, то возвращается к нему. Такое отношение к Толстому зародилось у писателя, по-видимому, еще в юношеские годы. Само вступление Алданова на стезю литературы началось с публикации его размышлений о Льве Толстом, которые составили первую книгу М. Алданова «Толстой и Роллан».

Дореволюционная петроградская жизнь молодого Марка Ландау была до предела насыщена научно-практической деятельностью и интенсивными контактами в среде столичных политиков и интеллектуалов. По-видимому, он не прочь был реализовать себя на общественно-политическом поприще и в то же время стремился попасть в «большую литературу», которая в глазах русской интеллигенции того времени имела что-то вроде харизмы. Александр Бахрах в статье «Вспоминая Алданова» пишет:

в свободное от химических изысканий и нараставших светских или общественных обязательств время Алданов умудрялся еще работать над большим исследованием о «Толстом и Роллане». <...> ... в те далекие дни, особенно в России, Ромен Роллан почитался неким «властителем дум», а о томиках его «Жан-Кристофа» говорилось, как о чем-то эпохальном.

Алданов успел выпустить только довольно увесистый первый том своего первого большого литературного труда, посвященный только одному Толстому. Второй остался в рукописи и, конечно, безвозвратно погиб. Но, как-никак, эта книга была довольно блестящим преддверием для входа в литературу [БАХРАХ (I)].

Сам Алданов, обращаясь в 1930-х гг. к истокам своей литературной карьеры, четко определял момент, с которого она началась:

Мое первое литературное произведение – книга о Толстом [СУРАЖСКИЙ. С.3].

Книга «Толстой и Роллан», увидевшая свет в 1915 г. [АЛДАНОВЪ М.А], не относится к разряду «художественной литературы». По жанру ее можно отнести к «философской публицистике». В этой книге анализ творчества «великого Льва» ведется «через обращение к коренным вопросам бытия и мышления», в сочетании с анализом «актуальных социально-политических проблем современности» [КУЗНЕЦОВА Е.В.]. Здесь Алданов сформулировал свои основные идеи, касающиеся как личности Льва Толстого, так и его произведений. Одновременно он обозначил и главные направления своего историософского дискурса с Толстым, который впоследствии он развивал в исторических романах. В первом литературно-критическом эссе Алданова, несомненно, была задействована вся толстововедческая база данных, накопившихся к середине 1910-х гг. При этом Алдановым учитывался и тот факт, что:

Современники Льва Толстого, научные труды которых вышли в свет до 1917 года¹⁰⁶, большей частью уделяли внимание его религиозно-философским взглядам, а не собственно публицистическим произведениям. Зачастую многие исследователи считали Толстого сильным писателем, но слабым мыслителем, указывая на свойственные ему противоречия в системе религиозного мировоззрения [КУЛТЫШЕВА]¹⁰⁷.

По мнению Д.П. Святополка-Мирского «Толстой и Роллан» в этом отношении являет собой пример глубокого осмысления ее автором критического опыта его предшественников, из которых более других на Алданова повлиял, конечно же, Д.С. Мережковский. В «самом значительном произведении Мережковского “Л. Толстой и Достоевский”, – писал он, – «была дана интерпретация личности обоих писателей, долгое время господствовавшая в русской критике и заимствованная в немецкой» – см. [СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ].

В начале 1900-х гг. появление книги Мережковского вызвало бурную полемику в русской печати. Критика отмечала мастерство Мережковского, вложившего «много труда в свою книгу», обнаружившего «недюжинную эрудицию», сумевшего «рядом тщательных тонких наблюдений ввести читателя в самый процесс художественного творчества» и представить «прямо замечательные страницы», посвященные «характеристике художественных приемов» Толстого и Достоевского.

Вместе с тем такой яркий мыслитель, как Лев Шестов, например, признавая, что «идеи г. Мережковского хорошие, благородные, возвышенные идеи – не хуже, может быть, лучше других идей, обращающихся ныне в обществе», ставил, однако, под сомнение саму идею книги, имевшей, по его словам, «только формальное, литературное значение»:

Вся огромная книга целиком посвящена доказательству той «философской» идеи, что в мире существует некое единство; что на нас и на ближайшие к нам поколения возложена задача отыскать новую религию, что с задачей этой близкое будущее справится, а затем – наступит конец мира... Эти идеи книги Шестов находил ненужными [ШЕСТОВ]. По словам Н. Бердяева, через Достоевского и Толстого открывает Мережковский конец

¹⁰⁶ Дореволюционная литература о Льве Толстом огромна – только книг различных русских авторов за период 1880-е – 1917 гг. издано было более 20 наименований. Первыми книгами являются *Скабичевский А. М.* Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель: критические очерки и заметки (1887 г.), *Дистерло Р.А.* Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист (1887 г.), *Цертелев Д.Н.* Нравственная философия графа Л.Н. Толстого (1889 г.)

¹⁰⁷ Такого рода точка зрения, например, упорно культивировалась в советском литературоведении.

великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому религиозному откровению и новому религиозному действию. И открытый им конец литературы он почувствовал, как наступающий конец мира, как апокалипсис всемирной истории [БЕРДЯЕВ (III). С. 127].

Неприятие у многих критиков вызвали главы, посвященные Л. Толстому. Так, например, по словам Б. Эйхенбаума, Мережковский

«только несправедлив» к Л. Толстому, а иному может показаться, что он любит и ненавидит «до конца». Мережковский... выдумывает, огонь стыда признает, а о стыдливости молчит», оставаясь «заносчивым и лицемерным в самом своем покаянии [ЭЙХЕНБАУМ].

Впоследствии Петр Струве «основную ошибку» Мережковского видел в том, что им

спор ведется сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов и в плоскости текущей политики. Большинству читателей Мережковского доступна и интересна только вторая плоскость¹⁰⁸.

Несомненно, что в первую очередь:

В своем дебютном произведении Алданов учитывает опыт Мережковского, <...> влияние Мережковского прослеживается в «Толстой и Роллан» и на содержательном уровне, и на уровне поэтики. <...> Свойственная <Мережковскому как> писателю-символисту поэтика двойничества, т.е. разложение явлений действительности на антитегичные пары и поиск синтеза противоположностей, оказалась актуальной для Алданова, конструировавшего образ Толстого по тому же принципу. <...>

<Он> заимствовал у Мережковского представление о Толстом как одновременно эллине (художнике) и иудее (мыслителе), <и эта> антитеза входит, таким образом, в структуру образа Толстого в «Толстой и Роллан».

<...>

«Эллин, перешедший в иудейство, или иудей, проживший долгий век эллином, влюбленный в жизнь мизантроп, рационалист, отдавший столько сил критике нечистого разума, гений, рожденный, чтобы быть злым, и ставший нечеловечески добрым».

В такой внутренней противоречивости и заключается, по Алданову, загадка Толстого. Его образ, построенный на антитезах, явно повторяет характерные схемы Мережковского. Достаточно вспомнить, что одна из глав в «Л. Толстой и Достоевский» посвящена раздвоению у Толстого, да и вся книга в целом проникнута идеей двойственности, которую автор рассматривает применительно к Толстому и Достоевскому.

<Согласно Мережковскому>: «Л. Толстой сознает, во что он верит или не верит как мыслитель, – по сравнению с тем, что он “знает бессознательно” как вещей тайновидец плоти», и приходит к выводу, что «в Л. Толстом живут и всегда жили два не только отдельные, но иногда и совершенно друг другу противоположные, враждебные существа».

... внутреннее толстовское столкновение язычества и христианства, отмеченное Мережковским, оказалось важным и для Алданова. Именно этот внутренний конфликт, по мнению Алданова, не позволил Толстому закончить «Хаджи-Мурата», где нравы горцев, их правосудие изображены не

¹⁰⁸ Цитируется по [МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. Примечания].

идеализированно, противоречат толстовству, и, тем не менее, «яснополянский моралист забыл свою проповедь, отдавшись чарам поэзии Кавказа».

<...>

У Алданова Толстой, <также, как и Мережковского>, неоднократно уподобляется Ницше: так,

<например>, он замечает, что и Толстой, и Роллан «оба – воплощенная искренность, и каждый мог бы, подобно Ницше, назвать себя *ego ipssissimus*¹⁰⁹».

<...>

<Используя> антитетические пары *мыслитель – художник, рационалист – иррационалист, ученый – противник науки, религиозный проповедник – атеист*, <...> Алданов деконструирует целостный толстовский образ <...>. Так, в области мышления Толстой представлен как иррационалист, сознательно избегающий внелогичного, стремящийся упорядочить иррациональное с помощью догмы: «ни один другой мыслитель не был так глубоко, как Толстой, убежден, что в огромном здании жизни под мысль отведена лишь одна небольшая комната, что жизнь не укладывается целиком ни в какие логические и моральные догмы, что она полна явлений, недоступных пониманию человека, стало быть, не имеющих вовсе смысла, – если отречься от банальных, ничего не значащих фраз старой богословской метафизики. И вместе с тем никто другой в современной философии не приложил столько усилий, чтобы подчинить жизнь логике, чтобы заслонить внелогичное от себя и от других, чтобы втиснуть бытие человека в рамки простейших прописных начал» – утверждает Алданов, называя при этом толстовство «крайней ступенью рационализма».

...такой же рационалистический подход Алданов предлагает в своем философском трактате <<Ульмская ночь>>, где борьба со случаем в истории (проявлением иррациональности) объявляется возможной благодаря сознательному выбору идеи Красоты – Добра <Kaloskagathos – М.У.> как аксиомы (т.е. рациональному подходу, который игнорирует примат иррационального в истории, существует вопреки ему). Единственная разница между философией Толстого в представлении Алданова и собственной алдановской философией заключается в том, что в толстовстве иррациональное начало представляет смерть, в то время как в алдановской системе ее субститутом становится случай. Это объясняет, почему в алдановских романах танатологическая проблематика тесно взаимосвязана с проблемой случая в истории.

<...>

С точки зрения «коренного дуализма» Алданов рассматривает и проблему науки в толстовской системе ценностей, утверждая, что внутренний конфликт обусловил толстовскую критику научного познания: «Наука означает для Толстого строй мысли, страдающий неизлечимой слепотой. Он ведь игнорирует внелогичное или просто его не замечает. <...> все творчество Толстого, не только догматическое, но и художественное (и второе гораздо больше, чем первое) заключает в себе скрытый вызов науке». При этом, по Алданову, Толстой «на внелогичное дает рационалистические ответы, которые ничуть не более ценны, чем великолепное молчание науки».

¹⁰⁹ *ego ipssissimus* – (лат.) само «я», в смысле «моя самость».

Примечательно, что проблема гносеологии, вопрос об интеллигентном и сенсительном познании ставятся и в книге Мережковского: «... исчерпываются ли наукой все реальные возможности человеческого существа? Наука опять отвечает: “не знаю”. Но ведь именно с этих-то “не знаю” и начинается ужас вообще всех “явлений”, – и чем глубже эти “не знаю” <...>, тем неотразимее религиозный ужас. Мы надеялись, что все тени вненаучного исчезнут при свете науки; они, однако, не только не думают исчезать, а напротив, чем ярче свет – тем становятся все чернее, точнее, резче, определеннее и таинственнее».

<...>

Алданов в «Толстой и Роллан» также рассматривает принцип двойничества у Толстого, замечая, что два его «символических» персонажа – Каратаев и Нехлюдов – воплощают ту или иную авторскую идею и представляют собой взаимоисключающие противоположности: «Один – сама удовлетворенность, другой – воплощенное искание. Один весь – радость жизни, другой весь – недовольство. Один купается во внелогичном, как сыр в масле, другой хочет весь мир втиснуть в формы логического мышления. Это тоже своего рода Ормуз и Ариман¹¹⁰, только *jenseits des Gut und Böse*¹¹¹, и любитель абстракций мог бы изобразить всю жизнь Толстого как борьбу этих двух начал». Таким любителем философских абстракций, активно применявшим их в своем художественном и критическом творчестве, был все тот же Мережковский

<...>

Представляется, что толстовская критика научного познания была воспринята Алдановым с оглядкой на Мережковского (замена «вненаучного» на «внелогичное» по существу не вносит ничего концептуально нового в сравнении с автором «Л. Толстого и Достоевского») [ЛАГАШИНА (I). С. 26–30]. Александр Бахрах, со своей стороны, особо подчеркивает, что:

...Алданов отнюдь не стремился сглаживать толстовские противоречия. Напротив, делая их более рельефными, настаивая на них, выставляя их напоказ, он старался не только их объяснить, но и оправдать. Так, отношение Толстого к науке, особенно к медицине и ее служителям, к которым Алданов применяет тюгчевское словцо, что они «Ахиллесы, у которых всюду пятка», было, конечно, ему совершенно чуждо. Будучи химиком, то есть, учёным, он не только по образованию, но скорее по внутреннему призванию был глубоко науке предан и едва ли не поклонялся ей. Тем не менее, Алданов с чувством внутреннего удовлетворения подметил, что иные из интуитивных предвидений Толстого, многое из того, что Толстой высказывал с заостренной полемичностью, в сущности, довольно близко к тому, к чему теперь приходят наиболее выдающиеся учёные нашего времени. Противоположности где-то сходятся [БАХРАХ (II). С. 147].

Итак, алдановская книга не только свидетельство того пиетета, который ее автор испытывал к Толстому, пожалуй, единственному русскому писателю, которого он любил безоговорочно, – но и мировоззренческий дискурс, в певую очередь, конечно, с Мережковским, по стопам которого при анализе практически всех толстовских тем так или иначе идет Алданов. Но если Мережковский-мыслитель считает, что «великий Лев» – «вредный» для истинно русского

¹¹⁰ Ормуз(д) и Ариман – божества зла и добра в религии древних персов, вечно борющиеся друг с другом.

¹¹¹ *jenseits des Gut und Böse* – (нем.) по ту сторону добра и зла, здесь намек на одноименную книгу Фридриха Ницше.

Духа гений, и уж, конечно, не наше все, то для Алданова Лев Толстой олицетворяет собой квинтэссенцию русской духовности. При всем этом и тема «фатализма» у Толстого, и рассуждения об «одержимости» писателя демоном иронии, и анализ толстовской танатологической проблематики у Мережковского и Алданова во многом совпадают. Обо всем этом очень убедительно писал Бахрах:

... одну из ведущих идей Толстого – исторический фатализм, Алданов в своей книге всячески старается обосновать, как бы сам себе противореча, потому что с большой убедительностью подчеркивал роль личности в истории <...>. Но именно это преклонение Алданова даже перед тем, что ему у Толстого было скорее чуждо, показательно. Его «детская болезнь» оставила на нем рубцы на всю жизнь, несмотря на то, что его творчество пошло по совсем другому пути, и Толстой, можно думать, отшатнулся бы от алдановского скепсиса. Если ближе присмотреться к этой первой книге Алданова, то можно заметить, что уже в его молодые годы, пожалуй, его сильнее всего взволновала повторяемость у Толстого темы смерти. Толстовская тяга к ее описанию была, собственно, непреходящей, и Алданов вкратце как бы систематизировал эти описания. В этом перечислении смерти от чахотки, от сердечного удара, от родов, от ушиба чередуются со смертями в рукопашной схватке, в сражении, затем идут линчевания, расстрелы и виселицы, казни, убийства и самоубийства. Мало того, как отмечает Алданов, Толстой с не меньшей трагичностью, вызываемой тем, что большинство толстовских героев умирало в физических страданиях и без нравственного примирения, готов был описывать и смерть лошади, дерева, цветка. Зная Алданова, мне кажется, что эта черточка толстовского творчества, детали иных толстовских «концовок» как-то особенно действовали на него, врезались в его сознание, влияли на его мироощущение. Мне представляется, что и его едва ли не с отроческих лет преследовала мысль о смерти. Не уверен, следует ли называть это чувство «страхом смерти», но, во всяком случае оно очень глубоко в нем засело, и недаром и его произведения так насыщены описаниями смертей, не брезгающими иной раз – что для Алданова довольно неожиданно – унижающими реалистическими, а то и физиологическими подробностями. Всех такого рода описаний не перечислить, но достаточно вспомнить его описание смерти Байрона или Александра II-го или мучительное угасание от рака одного из сановников александровского царствования или еще – самые из них жуткие – описания смерти Бальзака или Ленина и, наконец, самоубийство вымышленного общественного деятеля предреволюционной эпохи и его супруги.

<...> Тема смерти подлинно владела Алдановым, но он не любил говорить об этом вслух, как, например, с неизменным содроганием был на это способен Бунин. Алданов свою тревогу держал как бы про себя, но она невольно проступала между строчек в его книгах и иной раз – может быть, помимо его желания – в разговоре. Не только потому, что он был усердным читателем Паскаля, но и сам интуитивно сознавал, что «наши близкие нам не помогут и умрем мы в одиночестве», и с этим в каком-то смысле для него вещим постулатом он едва ли когда-нибудь примирился. Мне кажется, что не будет ошибкой утверждать, что образ Ивана Ильича неизменно витал перед Алдановым, а рядом с ним – где-то в отдалении, на втором плане – образ Хаджи-Мурата. Едва ли он сам сознавал, кто из них ему «понятнее» и в чем-то созвучнее. Алданов так и не разгадал толстовской «загадки», как

совместить слова, что умереть мирно можно только найдя Бога, с неким авторским восхищением перед «дикарством» Хаджи-Мурата. Ведь в своем дневнике Толстой подчеркнул, что главное в его повести было «выразить обман веры», добавляя: «как хорош был бы Хаджи-Мурат, если бы не этот обман». Но, приводя эту цитату, Алданов тут же отмечал, что «если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то Хаджи-Мурат, конечно, не имел никакой религии, но как куст татарника отстаивал свою жизнь до последнего вздоха».

<...>

Воспитанный в рационалистической традиции он, конечно, отлично понимал ничтожество всего, что было «понятно», но едва ли он соглашался поверить в величие «непонятного». Ему несомненно было ближе то, что было выражено Гойей в одной из самых страшных из его «фантазий», изображающей искривленную руку, высывающуюся из под камня пустынной могилы и подписанную одним словом «Кас1а» – «Ничто». Кстати, об этом офорте Алданов вскользь упомянул в своей книге о Толстом. Отсюда, думается, и шел его страх, его скепсис, та его горечь, которую он – не всегда успешно – пытался утаивать [БАХРАХ (II). С. 149–152].

Например, в письме к Буниным от 10 сентября 1933 года Алданов со свойственной ему иронией признается:

Всем рассказываю о своей новой черте: любви к смерти. Это главное несчастье: и жизнь надоела и утомила до последнего, кажется, предела, – и умирать тоже нет охоты [ГРИН (I). С. 285].

Думы о смерти каким-то образом сочетались в нем с отсутствием способности к вере, как внутреннему озарению, сопереживанию и диалогу с Творцом. Это тоже мучило его в духовном плане, о чем он признавался в письме к Вере Николаевне Буниной от 28 сентября 1931 года:

Очень Вам завидую, что Вы верующая. Я все больше научные и философские книги читаю [ГРИН (I). С. 280].

Олеся Лагашина также подтверждает: тема «смерти» – одна из самых важных у Алданова и в книге «Толстой и Роллан», и в «Загадке Толстого». Впоследствии она находит особое отражение в его романах. Само:

Обращение Толстого к религии Алданов вслед за Мережковским рассматривает как обусловленное страхом смерти. На бессилии человека перед лицом смерти и строится, по его мнению, вся толстовская догматическая система, включая его доказательство бесполезности науки и искусства. При этом в основе алдановской «разгадки» танатологического страха Толстого лежит высказывание Паскаля о пугающем вечном молчании бесконечных пространств, перед которым «любое человеческое построение рассыпается как картонный домик, и само толстовство в первую очередь».

<...>

Алданов в «Толстой и Роллан» приводит целую классификацию смертей у Толстого, <а также> подвергает анализу «Смерть Ивана Ильича» с точки зрения ее философских подтекстов. <По его мнению>:

«В “Смерти Ивана Ильича” Толстой как философ долго идет по стопам Паскаля (перед которым он всегда преклонялся), но расстается с ним в самый важный момент. Образ, которым глубоко проникся Толстой: “Мы все приговорены к смерти, и наша казнь только отсрочена” – был заимствован

Амиелем у Паскаля. Да и вся повесть Ивана Ильича, вплоть до момента его раскаяния, это гениальное запугивание смертью, отдает Паскалем за версту».

<...>

Неспособность «культурных людей» к настоящему религиозному прозрению, по всей вероятности, мучила и самого Толстого, чей демонстративный отказ признать достижения культуры за ценность вызвал едва ли не больше споров, чем (анти)историзм «Войны и мира» и крестовый поход Толстого против государственности. Та же неспособность к религиозному самоутешению была свойственна и Алданову, однако из оппозиции «религия – культура» он, в отличие от Толстого, отдает явное предпочтение второму члену [ЛАГАШИНА (I). С. 33, 34].

У Алданова и Мережковского имеет место практически одинаковый подход к критике концепции фатализма – закономерной предопределенности в историософской модели Толстого. Однако, если в истолковании «толстовского фатализма» Мережковский лишь признает необходимость принимать в расчет и роль случайности, то Алданов предлагает рассматривать исторический процесс как бесконечную *череду случайностей*, которые не поддаются ни систематизации, ни прогнозированию. При этом, если в толстовстве иррациональное начало представляет смерть, то <...> в алдановской системе ее субституттом становится случай. Это объясняет, почему в алдановских романах танатологическая проблематика тесно взаимосвязана с проблемой случая в истории [ЛАГАШИНА (I). С. 30].

Концепция о доминировании «случая в истории», в книге «Толстой и Роллан» еще только заявленная Алдановым, впоследствии будет развита им в мировоззренческую систему.

Обладая редким «чувством истории», Алданов в исследовании событий прошлого не отвергает принципа причинности, а, вслед за французским математиком Курно¹¹², вместо единой цепи причин и следствий предлагает видеть в истории бесконечное множество таких цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, однако скрещение цепей случайно, поэтому история – царство слепого случая¹¹³. Таким образом, историософия Алданова представляет собой синтез детерминизма и случайности, хотя, отталкиваясь от господствующей концепции исторического детерминизма предшествующего столетия, писатель делает акцент именно на роли Случая. Алдановское понимание Истории и роли Случая в ней объясняет едкий скептицизм автора по отношению к «великим личностям» [ТРУБЕЦКОВА С. 62].

Хотя в целом влияние Мережковского прослеживается в «Толстом и Роллане», как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики, у Алданова вместе с этим имеются и глубокие расхождения с Мережковским. Это касается такого важного для Мережковского вопроса, как «отпадение» Толстого от православия и, отчасти, даже от Христа. В книге «Л. Толстой и Достоевский» Мережковский, воцерковленный православный экзегет, наряду с высокой оценкой толстовского художественного творчества позволяет себе резкие выпады против его религиозного учения. Такого рода полемические высказывания по сути своей едва ли могли вызывать гневный протест Алданова – он был человек не религиозный, скорее даже атеист, чем агностик, и по этой причине избегал столь модных среди русских мыслителей (Мережковский, Бердяев, Шестов и др.) христологических и религиозно-философских дискурсов. О нерелигиозности Алданова, в частности, свидетельствует такой вот фрагмент из его письма к Бунину от 16 марта 1932 года:

¹¹² Антуан Курно первый с успехом приложил математические методы к политической экономии. «Случай», теорию которого он разрабатывал в своих сочинениях, представляется ему своего рода положительным элементом в явлениях, возникающих от совместного существования многих независимых друг от друга рядов причин.

¹¹³ См. [«Ульмская ночь» АЛДАНОВ (VIII), Гл. III «Диалог о случае в истории»].

Два дня пролежал больной, с горя открыл Св. Писание на псалмах Давида, и очень скоро закрыл. <...> А вот после этого открыл “Анну Каренину” и, хоть знаю наизусть, дух захватило (последние сцены)... Вот она настоящая книга жизни!... [ГРИН. С. 283].

Гораздо позднее, в середине 1950-х гг. Алданов в письме к В.А. Маклакову прямо писал:

...я человек неверующий (или верующий по-своему). Говорю «к несчастью» по понятной причине: настоящая (но именно настоящая, – простая, бесхитростная) вера очень облегчает и жизнь, и подготовку к смерти, ее ожидание. Необычайно облегчает. Однако я не вижу, как такая вера может быть у человека, занимающегося практической политикой <...>. Скажу больше: я не очень вижу, как такая политика может совмещаться и с идеализмом вообще (ведь вера одна из его разновидностей). Да, в общем, в глубине, в редкие минуты, в том, что раз навсегда берется человеком за общие скобки и к чему он в дальнейшем почти не возвращается, практический политик типа, скажем, Франклина Рузвельта может быть и идеалистом, и верующим человеком даже в тесном смысле этого слова. Но практическая политика состоит из весьма не-идеалистических элементов, она так проникнута спортом, компромиссами, интригами, закулисными ходами, так исходит из честолюбия, тщеславия, зависти и спортивных инстинктов, что идеализм и в особенности подлинная вера остаются где-то за версту, – притом за версту не «в глубину», а просто в сторону: с этим в политике обычно нечего делать [МАКЛАКОВ. С. 183].

Однако высказывания Мережковского о религиозных взглядах Толстого: «были абсолютно неприемлемы» для Алданова по форме. Так, Мережковский пишет, например:

«Л. Толстой, по своему обыкновению, чтобы соединить оба предела, оскопляет, притупляет их религиозные, слишком для него острые жала. Того и другого берет понемножку: немножко робкого буддийского “неделания”, вместо слишком смелой евангельской беспечности; немножко практической англосаксонской дарвиновской борьбы вместо слишком грозного ветхозаветного “в поте лица твоего ешь хлеб твой”, – и получается благоразумная обеспеченность, всеобщая сытость, вроде той, о которой мечтают социал-демократы; получается самая современная, прогрессивная, протестантская, вегетарианская, тепленькая и жиденькая смесь, Ветхий Завет, разбавленный Новым, то есть опять-таки нечто “средне – высшее”, серединка на половинку, ни то ни се, ни рыба, ни мясо, вчерашнее подогретое блюдо».

Для Мережковского толстовство – очевидный пример неудачного синтеза противоположностей. – здесь и ниже [ЛАГАШИНА (I). С. 35; 3, 37; 40–55].

Однако основная «линия разлома» во взглядах на Толстого проходит у Мережковского и Алданова по сугубо литературному полю. Для символиста Мережковского закономерным является «слишком любить Достоевского и недостаточно – Толстого».

С точки зрения обстоятельств литературной борьбы в эпоху «Серебряного века» книга «Толстой и Роллан» это, несомненно, и полемический выпад, направленный против литературного модернизма в целом. Алданов, сильно принижая литературный талант Достоевского – кумира европейского символизма и экспрессионизма, противопоставляет ему своего кумира – Льва Толстого, который у него является воплощением всего и вся в области писательского

мастерства, нераскрытым и неразгаданным гением, эдакой пирамидой Хеопса современной литературы.

Полемика с Мережковским в «Толстой и Роллан» по поводу формальных приемов Толстого <была> призвана утвердить первенство последнего в русской литературе – в то время как Мережковский в своей книге стремится продемонстрировать превосходство Достоевского. Алданов последовательно опровергает доводы предшественника – так, например, опровергается тезис о монологичности толстовской прозы. По Мережковскому, все герои Толстого говорят голосом автора «или в барском, или в мужичьем наряде», в то время как у Достоевского речь каждого героя узнаваема. Алданов выступает на защиту Толстого, приводя сходное толстовское мнение о языке героев Достоевского: «Мало того, что они говорят языком автора, они говорят каким-то натянутым, деланным языком, высказывают мысли самого автора».

Алданов замечает, что мнения Толстого и Мережковского прямо противоположны, и последний явно несправедлив в своей критической оценке: «Психология и язык патологических субъектов, с которыми по преимуществу имел дело Достоевский, в художественном отношении передаются значительно легче, чем психология и язык здоровых людей». Толстой же в изображении типичных, не отличающихся поведенческими (а следовательно – и речевыми) крайностями персонажей остается для него непревзойденным авторитетом.

Внутри данной общественной группы роль художника часто сводится к тому, чтобы не навязывать действующим лицам речей, недоступных им по форме или содержанию, и Толстой видел грех Достоевского в неисполнении этого требования

– констатирует Алданов, в очередной раз обращая названное Мережковским преимущество Достоевского в его недостаток.

Психологизм Толстого неоднократно подвергается критике у Мережковского, однако, сравнивая два противоречащих друг другу отзыва Тургенева и Флобера (первому психология в «Войне и мире» показалась слабой; второй, напротив, выразил по этому поводу свой совершенный восторг), Мережковский посчитал возможным примирить обе точки зрения:

Чем ближе Л. Толстой к телу или к тому, что соединяет тело с духом, – к животнo-стихийному, «душевному человеку», – тем вернее и глубже его психология или, точнее, его психофизиология. Но, по мере того, как, покидая эту всегда под ним твердую и плодотворную почву, переносит он свои исследования в область независимой, отвлеченной от тела духовности, сознательности, – не страстей сердца, а страстей ума, <...> психология Толстого становится сомнительной.

«Сомнительная психология» Толстого в представлении Алданова была новым методом в литературе, до высот которого не поднялся даже Стендаль, признанный предшественник Толстого:

Каждое слово «Детства», – писал он, – «было словом человека, власть имеющего», и даже наиболее проницательные из современников с недоумением и непониманием остановились перед новыми методами искусства, открывшимися в творениях молодого писателя.

Примечательно, что, рассуждая о психологизме Толстого, Алданов приводит мнения все тех же Флобера и Тургенева, при этом он полностью солидаризируется с первым, второго же подвергает резкой критике :

Французский писатель оказался проницательнее Тургенева: теперь достаточно ясно, что приемы пушкинского творчества могли создать Онегина, но их не хватило бы ни для Болконского, ни для Иртенева, ни для Нехлюдова.

Отнимите от последних «рефлексии» и «вибрации», много ли останется? <...> Толстой первым стал систематически прикладывать лакмусовую бумажку беспощадного анализа к делам, невесомым мыслям и чувствам своих героев. Мягкосердечный Тургенев по природе не выносил этого мучительного метода, который у Толстого нередко переходит почти в инквизиционное – бесстрастное и серьезное – издевательство над собственными его «героями».

Что касается темы сравнения Толстого с Ромена Роллана, которую в последующем издании¹¹⁴ Алданов полностью из книги исключил, то, по всей видимости:

Именно отсутствие стройного мировоззрения побудило его поставить рядом имена Толстого и Роллана:

«Мысль Толстого и Роллана чрезвычайно трудно отливается в строго определенную форму. Она не мирится ни с какой системой, и в этом факте, быть может, кроется симптом переживаемого нами времени: уж не приходит ли что другое на смену прежним идейным блокам».

Бессистемность и внутренняя противоречивость толстовства были отмечены и в книге Роллана, где автор пишет:

«Я убежден, что, несмотря на уверения Толстого, он все же не мог внутренне примирить два противоборствующих начала: правду художника и правду верующего».

<...>

Замысел [первой] алдановской книги о Толстом целесообразно связывать (помимо всех русских претекстов) с французской биографической традицией, в которой этот жанр приобрел особенную популярность в первой половине XX в. Серия

«Жизнь замечательных людей»¹¹⁵ вне всякого сомнения повлияла на Алданова и в жанровом, и в тематическом отношении. <...> алдановские сборники очерков «Портреты» и «Современники» ведут свою генеалогию от французской биографической традиции, и роллановскую серию «Жизнь замечательных людей» следует считать наиболее близким алдановским предшественником.

С биографической точки зрения важно отметить, что когда Алданов пишет, что:

«художественное освещение революционной эпохи далеко не исчерпано во французской литературе небольшим сравнительно числом романов, отмеченных разной степенью дарования и исторической верности», это, видимо, свидетельствует о том, что уже в это время у Алданова возникает замысел романа из эпохи французской революции, который воплотится в тетралогии «Мыслитель».

Для прояснения генезиса личности Алданова-писателя представляет интерес глава в «Толстом и Роллане», касающаяся формальных приемов русского и французского авторов. Здесь, с позиций классического литературоведения Алдановым намечен подход к созданию нового исторического романа – тема, к которой он неоднократно обращался впоследствии – см., например, «О романе» (1933 г.). Внимание, с каким Алданов исследует здесь формаль-

¹¹⁴ Поскольку последующие публикации Алданова о Толстом, включая сокращенный вариант «Толстой и Роллан» – книгу «Загадка Толстого» (1923 г.), во многом повторяют и варьируют высказанные в его первом литературно-критическом исследовании концепции, все они могут рассматриваться как разные редакции одного и того же текста [ЛАГАШИНА (I)].

¹¹⁵ Имеется, по видимому, в виду роллановский цикл «Героические жизни»: «Жизнь Бетховена» (1903 г.), «Жизнь Микеланджело» (1907 г.), «Жизнь Толстого» (1911 г.).

ные приемы исторической романистики, подтверждает высказанное выше предположение, что задолго до эмиграции он серьезно готовился выступить на этом поприще.

Вся книга «Л. Толстой и Достоевский» проникнута идеей двойственности, через призму которой автор рассматривает творчество обоих писателей.

И у Алданова главной составляющей толстовского мифа является опять-таки «раздвоение», выступающее в форме представлений об «адогматическом догматизме» и внутренней противоречивости, <...> согласно которому «все творчество Толстого насквозь проникнуто мыслью, что у самого лучшего человека, кроме изображения мнимого, которое видно окружающим, есть изображение действительное, видимое лишь ему самому (да и то не всегда); и автор “Крейцеровой сонаты” был глубоко убежден, что эти изображения никогда не тождественны, а очень часто совершенно не похожи одно на другое».

Таким образом, при сравнении концепций двух авторов с различными, казалось бы, идейными установками налицо явно выступает «единство противоположностей»: принципиальная неоднородность и неоднозначность как особенность модернистского мышления, столь важная для оценки Льва Толстого символистом Мережковским, оказывается определяющей и для алдановского понимания Толстого, причем и творчество Роллана Алданов рассматривает с тех же позиций.

Собственно говоря, сама «Загадка Толстого», к которой, по глубокому убеждению Алданова, ему лично удалось подобрать «ключ», и есть эта самая амбивалентная раздвоенность, постоянная внутренняя противоречивость, характерная для формы мышления.

Анализируя мировоззрение Л. Толстого с позиции историзма, Алданов утверждает, что «величайшим французским мыслителем сам Толстой отводил первое место в мировой литературе». Одним из таких мыслителей, безусловно, является Жан-Жак Руссо, о чем говорит и Роллан в своей книге «Жизнь Толстого» (1911 г.), другим – Паскаль.

На взаимосвязанность мировоззрений двух мыслителей указывают и короткие авторские замечания, и развернутые философские рассуждения, и эпитафия ко второй части «Толстой и Роллан» <...>. Известно, что Паскаль был для Толстого одним из наиболее почитаемых мыслителей: его имя встречается в толстовском «Круге чтения» около 200 раз; Толстой переводил Паскаля, готовил его биографию для публикации в «Круге чтения». <...> О близости паскалянских воззрений Толстому наиболее красноречиво свидетельствует его признание <...>: «Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой, – что может быть таинственнее этого?.. Вот эта мысль, которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя! Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он!»

С другой стороны, проводя параллели между Львом Толстым и Руссо в так называемом «исповедальном жанре», демонстрирующем предельную «честность автора с самим собой», Алданов утверждает, что Лев Толстой истиной своей «исповеди» не писал, а книга, которая под этим названием включена в состав его собрания сочинений – это публицистическая история, повествующая о мотивах отпадения писателя от официального православия.

Особенно интересен в «Толстом и Роллане» образ Льва Толстого «как зеркала русской революции», т.е. общественного деятеля, чья проповедь отрицания государства сыграла разрушительную роль в истории России. В этой книге он представлен ярко, а вот в дальнейшем подвергся корректировке. Забегая вперед, отметим, что эта корректировка была следствием борьбы русской эмиграции и Советской России за «своего» Толстого, достигшей кульминации в 1928 г., когда в СССР и русском Зарубежье широко отмечался 100-летний юбилей со дня рождения писателя. Во внутриэмигрантской дискуссии Алданов всячески стремился заретушировать образ Толстого-антигосударственника, христианского анархиста, о котором писал, например, Бердяев в «Философии неравенства». Игнорируя по существу социальную проповедь позднего Толстого, отрицавшего культуру и государство, Алданов концентрирует внима-

ние своего читателя на «докризисном» Толстом времен «Войны и мира», «который никак не мог быть обвинен в разрушительном влиянии на умы русской интеллигенции, спровоцировавшей революцию».

Таковы основные связанные с именем Толстого проблемы, которые поднимает в книге «Толстой и Роллан» Алданов. Последующее переиздание книги в существенно сокращенном виде – «Загадка Толстого», исказило и ее структуру, и представления исследователей о начале творческого пути Алданова – в то время как многие его замечания о французской литературе и сочинениях Ромена Роллана позволяют нам с большой вероятностью установить генезис алдановских приемов и даже целых произведений.

Книга «Толстой и Роллан» важна и для понимания истоков литературного творчества Алданова, поскольку обратившись к беллетристике, он взялся за те темы и жанры, которые столь тщательно прорабатывал в этом своем первом литературном труде. Его знаменитая тетралогия «Мыслитель» стала своего рода сложным синтезом эпизодов эпопеи Толстого и исторических драм Роллана о французской революции, переосмысленных с точки зрения фактической достоверности, и в контексте заявляемой им «философии случая».

Судьба книги «Толстой и Роллан» сложилась незавидно: на литературной сцене ее, в общем и целом, «не заметили», хотя Алданов и утверждал обратное, не без гордости вспоминая, что его «Толстой и Роллан» был весьма благосклонно встречен <...> критикой и, особенно, делавшим «погоду» в этой области покойным Айхенвальдом¹¹⁶.

Я в глаза никогда не видал Айхенвальда и, поэтому, особенно ценю его отзыв. Книга моя вышла до войны.

Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Ромена Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи» [СУРАЖСКИЙ. С.3].

Имелась также и одна отрицательная рецензия на эту книгу. Ее написал известный в те годы либеральный публицист и историк русской литературы Василий Чешихин-Ветринский. Однако дискуссии о книге в печати не было и имя «Марк Алданов» тогда на общероссийском уровне не прозвучало. Дмитрий Мережковский тоже не отреагировал на критические наскоки молодого литератора. Да и впоследствии, уже в эмиграции, он предпочел «не заметить» книгу «Загадка Толстого» (1922 г.) – очищенный от тем «Ромен Роллан» и «толстовцы» вариант первого издания.

Ни Горький, ни Иван Бунин, ни кто-либо другой из писателей, близко знавших Льва Толстого, никак не откликнулся на появление «Толстого и Роллана». Из дневниковой записи Веры Муромцевой-Буниной от 12/15 марта 1919 года:

Алданов считает Толстого мизантропом, так же как и Ян. Ян говорил, что до сих пор Толстой не разгадан, не пришло еще время. Алданов расспрашивал о встречах Яна с Толстым. Ян передал их, они были кратки. Сильная любовь Яна к Толстому мешала ему проникнуть в его дом и стать ближе к Толстому [УСТБУН. Т. 1. С. 218].

При этом ни слова о книге Алданова (sic!). По всей видимости, Бунин о ее существовании не знал, иначе, по законам приличия, должен был бы о ней в том или ином контексте

¹¹⁶ В очень подробной библиографии, включающей перечень большинства работ о Льве Толстом дореволюционного периода – см. [КУЛТЫШЕВА], отсутствуют упоминания о книге М. Алданова и рецензии на нее Ю. Айхенвальда в кадетской газете «Речь».

упомянуть. Алданов же, по-видимому, из скромности, тоже ничего не сказал о своем первом литературном детище.

Имелась также и одна отрицательная рецензия на эту книгу. Ее написал известный в те годы либеральный публицист и историк русской литературы Василий Чешихин-Ветринский.

Глава 4. Русская революция; «Армагеддон» (1917–1918 гг.)

*Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сёл,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:*

Михаил Лермонтов

В докладе «О М.А. Алданове», прочитанном 6 июня 1963 года Гайто Газдановым в масонской ложе «Северная Звезда»¹¹⁷, оратор говорил:

Есть то, что можно назвать загадкой Алданова. Он не верил ни в какие положительные вещи, – ни в прогресс, ни в возможность морального улучшения человека, ни в демократию, ни в так называемый суд истории, ни в торжество добра, ни в христианство, ни в какую религию, ни в существование чего-либо священного, ни в пользу общественной деятельности, ни в литературу, ни в смысл человеческой жизни – ни во что. И он прожил всю жизнь в этом безотрадном мире без иллюзий [СЕРКОВ],

– полагая, что каждый отдельный человек, его судьба отчуждены от истории, текущей параллельно-враждебно ему, и лишь время от времени вторгающейся в его частную жизнь, требуя от человека, чтобы он от нее отказался. Но вовлечение человека в историю – в войну или революцию, ни к чему хорошему не приводит. Оно деструктивно, а то и губительно для его личности.

Такой образ мысли привила Алданову Русская революция 1917 года – время страстных надеж, а после большевистского Октябрьского переворота и Гражданской войны 1917–1920 гг. – отчаяния и тяжкого разочарования.

До Революции, не выказывая активности на политическом поприще, Алданов, несомненно, весь целиком принадлежал русской демократической интеллигенции, тому, что в отчетах Государственных Дум имело общее название «левого сектора». В «Российской империи 1910-х гг.» «левый сектор» составлял девять десятых образованной России [«Короленко» АЛДАНОВСОЧ (IV)].

Опьяненный воздухом Февральской революции, которая провозгласила политические права и свободы, в том числе слова, собраний, печати и манифестаций, отменила сословные, национальные и религиозные ограничения, смертную казнь, военно-полевые суды, ввела восьмичасовой рабочий день и разрешила создание профсоюзов и фабрично-заводских комитетов трудящихся, молодой Алданов с головой окунулся в политику. Он примкнул к только что

¹¹⁷ Марк Алданов являлся одним из основателей этой ложи и состоял ее членом с 1924 г.

созданной на основе Партии народных социалистов Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП, т.н. «энесы»), точнее, к

небольшой группе очень культурных и патриотически настроенных людей, у которых «социалистическое» проявлялось больше всего на их вывеске. Но это были люди почтенные и всеми уважаемые, многие из них были историками, издавали журнал «Голос минувшего» и принимали близкое участие в деятельности, радикального по тогдашним понятиям, «Вольно-Экономического общества», на заседаниях которого накануне семнадцатого года шумели «народные витии». Допускаю, что Алданов примкнул к партии потому, что кто-то его пригласил, а отказаться от приглашения какого-то старца с белоснежной и благоухающей бородой было, действительно, как-то невежливо. Ведь по своему характеру, по всему своему строю Алданов был не из тех, которые способны были подчиняться какой бы то ни было партийной дисциплине. Но тут был, конечно, случай особый [БАХРАХ (I). С. 159–160].

По мнению современных историков – см. [ПЕШЕХОНОВ], [ЕРОФЕЕВ], [СЫПЧЕНКО], энесы, являясь партией по существу социалистической, <тем не менее>, исключала идею дискретности социального развития и допускала переход российского общества к социализму только в государственно-правовой форме, путем длительной и постепенной эволюции.

<...>

Особое значение при этом <...> энесы придавали консолидации со своими идейными единомышленниками по народническому направлению – эсерами¹¹⁸ и трудовиками¹¹⁹, созданию единой народнической партии. Однако достичь этого не удалось. Безуспешными были и попытки народных социалистов объединиться с левыми кадетами в рамках «Радикально-демократической партии». Тем не менее, энесам удалось добиться объединения с трудовиками. Это завершилось образованием единой с трудовиками Трудовой народно-социалистической партии <...>¹²⁰.

<...>

Авторитет и профессионализм членов партии способствовали их представительству во многих государственных и общественных органах. В диссертации выявлено, что народные социалисты входили в состав городских и районных дум и управ, Особого совещания Временного правительства, Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Главного земельного комитета, Всероссийского Демократического совещания, Совета Республики. Энесы активно участвовали в работе 1-го Всероссийского съезда крестьянских депутатов и 1-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Они выступили организаторами местных земельных комитетов, инициаторами созыва Государственного совещания в Москве в августе 1917 года и создания Предпарламента осенью 1917 года. Представители ТНСП были избраны в Учредительное собрание. Летом 1917 года ТНСП становится правительственной партией,

¹¹⁸ Эсеры – представители самой крупной в начале XX в. по численности и авторитетной по влиянию в массах Партии социалистов-революционеров.

¹¹⁹ «Трудовики», официально «Трудовая группа» – российская политическая организация, существовавшая в 1906–1917 гг., которая стремилась бороться за интересы и отражать настроение всего трудового народа, объединяя главным образом три общественных класса, которые она причисляла к «трудящимся»: крестьянство, рабочий пролетариат и трудовую интеллигенцию.

¹²⁰ 21–23 июня 1917 года на I съезде партии, где энесы объединились с трудовиками, в состав объединённого ЦК вошли бывший председатель трудовиков В. И. Дзюбинский, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин (председатель), С. П. Мельгунов, Л. М. Брамсон, М. Ландау (Алданов) и др. На съезде была принята программа объединённой партии. Официальным органом энесов стала газета «Народное слово». В 1918 г. партия прекратила своё существование.

получив места во Временном правительстве. В мае-августе 1917 года народные социалисты занимали ключевые посты в коалиционном Временном правительстве.

<...>

...после Февральской революции вектор общественного движения постоянно смещался. В связи с этим первоначально Трудовая народно-социалистическая партия из радикальной партии, находящейся на левом фланге общественного движения, превращается в партию центра, а затем переходит к умеренности, все более и более отходя на правый фланг. Такое поведение партии логически предопределялось ее социальной теорией, исключающей крайний радикализм. Деятельность народных социалистов в органах государственного и общественного управления была направлена на решение важных экономических и политических проблем России в государственных формах, что должно было способствовать преодолению кризиса в стране, не прибегая к насилию и диктатуре. Энесы пытались всячески оградить российское общество от большевистской авантюры, направленной на немедленный переход к социализму. Однако взгляды энесов о постепенном продвижении к социализму не могли иметь широкой популярности в условиях взрыва революционных страстей и усиления радикального настроения маС.

Октябрь 1917 года сыграл трагическую роль в судьбе народных социалистов: он вновь поставил их в оппозицию к власти.

<...>

В условиях диктатуры пролетариата большевики вели политическую борьбу, планомерное уничтожение политических партий в России, в том числе социалистических. ТНСП, как и другие небольшевистские партии, потеряла свои позиции в российском обществе не только по причине внутрипартийных процессов, но, прежде всего, в связи с политикой большевиков, направленной на уничтожение инакомыслия в стране. В тех условиях, когда манипуляция общественным сознанием стала важнейшим механизмом борьбы за власть, народные социалисты, прекрасно осознавая это, как и представители других небольшевистских партий, продолжали проявлять некий «духовный аристократизм» и воздерживались от использования этого механизма, равно как и других способов борьбы, признаваемых ими в системе их моральных ценностей недостойными, нечистоплотными. Интеллигентский идеализм, извечно присущий российской интеллигенции, обусловил определенное замыкание деятелей небольшевистских политических партий на спорах об оптимальном для России пути развития, на отстаивании приоритета своей партийной модели в то время, когда необходимо было консолидироваться для реальной борьбы за власть и дать отпор главному и общему противнику – большевизму. Вряд ли все сложные процессы, связанные с этим явлением, можно охватить такими терминами как «кризис» или «крах» партий. Попытка понять корни этих процессов приводит нас к осмыслению и особенностей развития российской цивилизации, и специфических форм самовыражения отечественной интеллигенции, и взаимовлияния революционных процессов и политических партий и др. Однозначным является то, что это были процессы, характерные для всех небольшевистских партий России.

...Трудовая народно-социалистическая партия была более последовательна в организации противодействия большевикам в легальных условиях борьбы, нежели многие другие партии [СЫПЧЕНКО].

В конце 1917 г. энесы самым решительным образом выступили против большевистского Октябрьского переворота. Сразу же после захвата власти большевиками, ЦК ТНСП издал прокламацию, в которой разъяснялся преступный характер свершившегося:

Захватчиками и насильниками – большевиками расстроены ряды революционной демократии в тот момент, когда ей особенно нужно было

быть сплоченной перед угрозой внешнего врага и накануне выборов в Учредительное собрание [БУДНИЦКИЙ (II). С. 179].

Не занимая официальных постов во Временном правительстве, с главой которого А.Ф. Керенским у него на всю жизнь сохранились уважительные дружеские отношения, Алданов, тем не менее, выказывал исключительную активность как актуальный политик. Вопреки вышеприведенному мнению Александра Бахраха можно смело утверждать, что в эти годы

Алданов был заметным деятелем Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП). В январе 1918 г. в Петрограде по инициативе известного юриста А. С. Зарудного, в недавнем прошлом министра юстиции Временного правительства, состоялось собрание ЦК и Петроградского комитета ТНСП. Зарудный выступил с докладом, в котором обосновывал необходимость признания советской власти. С содокладом выступил Алданов; он был категорически против признания. Подавляющее большинство собравшихся разделяло взгляды Алданова. Оставшись практически в одиночестве, Зарудный вышел из партии [БУДНИЦКИЙ (II). С. 179].

Хотя, как пишет А. Бахрах:

У народных социалистов в ту пору никакого партийного «мундира» не было, и можно легко предположить, что в руках Алданова никогда никакого «партикета» тоже не было, ни в прямом, ни в переносном смысле [БАХРАХ (I). С.160],

– после поражения «белого движения» и бегства из Советской России, обретя незавидный статус политического эмигранта и апатрида, Алданов, тем не менее, до конца дней оставался верным «партийному знамени», участвовал в политической жизни русской эмиграции и, во всяком случае, в обсуждении текущих политических проблем и эмигрантских начинаний. Делалось это непублично, при личных встречах и в переписке [«ПРАВА ЧЕЛ. И ИМПЕР.].

По этой причине Бахрах, младший современник Алданова, никогда не имевший, по его собственным словам, с ним той дружеской близости, которая установилась у меня с рядом литераторов – его сверстников, когда возрастная разница не принималась в расчет [БАХРАХ (I). С.156],

– был не осведомлен о политической деятельности Алданова, к которой сам писатель относился очень серьезно и ответственно. Подтверждением этому выводу являются и партийные документы ТНСП¹²¹, и высказывание самого Алданова, например, в переписке с таким видным политическим деятелем Февральской революции, как Василий Маклаков [МАКЛАКОВ], или же в статье-некрологе «Н.В. Чайковский»¹²².

Революционер Николай Чайковский – одна из наиболее экстравагантных и даже одиозных фигур русского русской антицаристской оппозиции. Марк Алданов, дистанцирующийся, как правило, от подобного типа политиков, питал к нему, однако, не только уважение, но и очень теплые чувства. Его несколько не смущало, что Николай Чайковский:

¹²¹ На совещании членов ЦК ТНСП, состоявшемся в Париже 26 мая 1920 года в образованный Заграничный комитет партии вместе с Л.М. Брамсоном, А.А. Титовым, Н.В. Чайковским и др. вошел также и М.А. Ландау-Алданов, который одновременно был избран и членом Исполнительного бюро. Заграничный комитет ТНСП провел 31 декабря 1922 года конференцию Трудовой народно-социалистической партии, которая была посвящена анализу международного положения России и определению задач энесовской эмиграции в новых условиях. Конференция призвала демократическую русскую эмиграцию стать передовым отрядом русской демократии [СЫПЧЕНКО].

¹²² Впервые статья была напечатана в сборнике: Николай Васильевич Чайковский. Религиозные и общественные искания: Статьи / Под общ. ред. А.А. Титова. Париж: 1929. С. 265–271.

был последовательно анархистом, социалистом-революционером, народным социалистом. <...> увлекался «богочеловечеством» и увлекался кооперацией. <...> проповедовал партизанскую войну при П.А. Столыпине и был министром в правительстве генерала Деникина. <Ибо, утверждает Алданов> для тех, кто хорошо его знал, несомненно душевное единство Николая Васильевича во все периоды его жизни. Но строго логически изложить «последовательную эволюцию» его взглядов очень трудно.

<...>

Недоброжелательный исследователь может при желании найти материал для сатиры в том, что в молодости окружало Николая Васильевича: в кружке чайковцев, где ради борьбы с предрассудками ели собачье мясо; в американской коммуне, где «жили публично», питались «гигиеническими шишками Фрея», заставляли детей помножать двадцать пять миллиардов на тысячу двести сорок три миллиарда и в случае упрямства ученика выливали ему на голову ведро холодной воды. Едва ли нужно говорить, что для самого Николая Васильевича все это было совершенно не характерно.

В его собственных политических увлечениях были порою крайности, – их не надо понимать буквально. У многих выдающихся деятелей освободительного движения иногда проскальзывали мысли, перед осуществлением которых они, конечно, остановились бы в ужасе. Осуществили – другие. <...> Сам Н.В. Чайковский в результате жизненного опыта совершенно освободился от утопических или сверх-революционных мыслей. В своей короткой правительственной деятельности, еще позднее в эмиграции, он был разумным политиком в лучшем и благороднейшем смысле этого слова. В его работе и тогда могли быть ошибки, но за них несем ответственность мы все. Если Чайковский ошибался, то с ним (за редкими исключениями) ошибалась почти вся «государственно мыслящая» интеллигенция России.

Для профессионального политика он был слишком правдив. Николай Васильевич не мог лгать или хотя бы скрывать свои мысли, даже если б находил это нужным. С профессиональными политиками ему было нелегко иметь дело. В пору парижской конференции он вел переговоры с вершителями судеб мира. Если не ошибаюсь, президент Вильсон только его одного и слушал тогда из русских. Но его переговоры с Ллойд-Джорджем или с Клемансо, конечно, осложнялись полным отсутствием общего морального языка. <...> Он был порою слишком доверчив. Тем не менее, и как политик Чайковский был совершенно незаменим на всех постах, на которые в старости ставила его судьба. В этой работе последнего десятилетия его жизни мне приходилось беспрестанно видеть Николая Васильевича. В ней неизменно сказывались его высокие достоинства. Энергия Чайковского, его неутомимость, его способность к увлечению делом, граничили с чудесным. Вместе с ними он вносил в работу разум и опыт много видевшего человека, безупречное джентльменство, совершенно исключительное благородство тона. Последняя черта была особенно характерна для Чайковского, точно так же, как его постоянная внутренняя серьезность, неизменно высокий строй души и мыслей. Черты эти в нем чувствовались всеми и внушали уважение людям, весьма далеким от него в политическом отношении. Столь частое в политической борьбе подшучиванье над противником обычно само собой прекращалось в присутствии Николая Васильевича. Этому способствовала

и самая его внешность, так шедшая к его духовному облику: «только поверхностные люди не судят о человеке по наружности¹²³».

<...>

Очень трогателен образ этого человека, так твердо убежденного в том, что лишь ненормальные люди могут неверить в счастье. В этих верованиях он и умер. В его прощальном письме я читаю: «...Приходят последние минуты. Если Богу угодно, уйду с легкой душой и благодарю за всё, что я пережил в этом мире. Он вечно движется вперед, все совершенствуясь и все больше и больше одухотворяясь, приближаясь, таким образом, к своему Творцу. В слиянии же с Ним цель всей мировой жизни, а в ней часть и нашей»...

Мне прежде казалось, что только в России могли являться люди, подобные Чайковскому. И в самом деле, для создания таких людей, как он, нужно было иметь внизу духоборов, наверху «аристократов, захотевших в сапожники». Но, может быть, здесь особенное значение имеют обстоятельства времени, а не места. Та эпоха, в которую получил воспитание Чайковский <конец 1860-х – 1870-е гг. – М.У.>, удивительна во многих отношениях. Вера в торжество справедливости, в неуклонность нравственного прогресса, в совершенное благородство человеческой природы, в неизбежность всеобщего счастья на земле, тогда были много сильнее, чем в восемнадцатом веке. Шопенгауэр прошел в стороне от большой дороги мысли своего времени, а Шпенглер и вообще был бы тогда невозможен. Восемнадцатый век был слишком рассудочен и слишком злобен, – недаром небывалой кровью и кончился. Не в духе этого века и то необыкновенное по мудрости и разуму изречение, которое так любил Николай Васильевич: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну»...

Банальны слова: «таких людей больше не будет». В применении к Николаю Васильевичу Чайковскому я их повторяю с полной уверенностью: разумеется, не будет, – откуда же им теперь взяться? Этот революционер и не подозревал, в какой мере он был человеком старой России [АЛДАНОВ (IX)].

В этом тексте обращают на себя внимание ряд высказываний, по сути своей, отражающих присущую Алданову, как человеку и писателю, пессимистическую самоиронию. Сам он, как уже отмечалось, не верил ни в счастье, ни в благость прогресса. И уж, конечно, автор целой галереи портретов политических деятелей – от Робеспьера до Сталина и Гитлера, никак не мог верить в чистоту политических риз политиков, тем более в «лучшем и благороднейшем смысле этого слова». Тем не менее, в своих оценках Н. Чайковского, а также П. Милюкова, В. Маклакова, А. Керенского, кн. Г. Львова и некоторых других видных деятелей Февраля он вполне допускал столь высокий градус оценки.

Энес Марк Алданов-Ландау самым действенным образом включился в борьбу с большевиками, оставив на этом безрадостном поприще пусть не глубокий, но все же заметный для историков Русской революции след. Осенью 1918 г. он отправился на юг России, где конституционные демократы и социалисты всех мастей, объединившись в рамках Союза возрождения России (СВР), концентрировали свои силы для борьбы с узурпировавшими государственную власть большевиками. СВР, он же Левый центр, был образован нелегально в марте – апреле 1918 г. в Москве кадетами, энесами, эсерами, социал-демократами из группы «Единство» и деятелями кооперативного движения. Основной целью этой организации была борьба с большевиками. Программа СВР дает ясное представление о политической позиции Алданова в годы Гражданской войны. Она включала в себя следующие требования:

¹²³ Высказывание Оскара Уайльда.

воссоздание русской государственной власти; восстановление территориального единства страны; возобновление участия России в 1-й мировой войне на стороне Антанты; восстановление земств и органов гор<одского> самоуправления, которые упразднились большевиками; созыв нового Учредительного собрания [КУДРЯКОВ].

В списке руководящих деятелей этого Союза мы видим немало людей, которые впоследствии, уже в эмиграции, составляли ближайшее окружение Марка Алданова: С.П. Мельгунов, М.В. Вишняк, А.Ф. Керенский, И. И. Фондаминский, Н. Д. Авксентьев.

В 1918 г. СВР участвовал в организации антисоветских восстаний на Севере России, в Поволжье и Сибири, его представители входили в антибольшевистские правительства («Верховное управление Северной области», «Комитет членов Учредительного собрания» и др.). На территории России СВР был окончательно разгромлен карательными органами большевиков в феврале 1920 г.

В конце 1918 г. Алданов в качестве секретаря делегации Союза возрождения России, выезжает за границу.

В историческом эссе «Из воспоминаний секретаря одной делегации» (1930 г.) Алданов подробно описывал эту поездку:

После совещания, которое состоялось в Яссах в конце 1918 года, три организации, действовавшие в ту пору на юге России (левая, правая и центральная), решили, частью по собственной инициативе, частью по настойчивому приглашению союзных послов в Румынии, отправить совместную делегацию в Париж и Лондон «для изложения положения дел в России». В состав делегации входили: В.И. Гурко, К.Р. Кровопусков, П.Н. Милуков, А.А. Титов, С.Н. Третьяков и Н.Н. Шебеко.

Мы выехали из Одессы 3 декабря 1918 года на пароходе «Александр Михайлович», который предоставило в распоряжение делегации одесское городское самоуправление – здесь и ниже [АЛДАНОВ (XII)].

Результаты этой поездки были самые плачевные. Союзники не понимали ситуации в России. Война закончилась, европейские страны с трудом зализывали нанесенные ею чудовищные раны и не желали глубоко влезать в конфликт между, как им представлялось, русскими радикальными социалистами и их умеренными единомышленниками вкупе с либерально-консервативной оппозицией. На Западе социалисты в то время были в политическом плане очень влиятельной силой и в массе своей они сочувствовали Советам. Кроме того, в глазах европейских политиков Россия была необычной, с точки зрения западных стандартов и критериев, страной. У русских, по их мнению, имелось слишком много сугубо национальных странностей и чудачеств. С горьким сарказмом Алданов отмечал, что великой русской литературой – здесь в первую очередь имелся в виду Ф. М. Достоевский, они были приучены к самым непонятным поступкам русских людей. Настасья Филипповна, как известно, бросила в печку сто тысяч рублей. У Чехова тоже кто-то сжег в печке большие деньги. Помнится, не отстал и Максим Горький. О закуливании папирос сторублевыми ассигнациями и говорить не приходится. Что ж делать, если в этой удивительной стране было при «царизме» так много лишних денег?.. Теперь Настасья Филипповна, быть может, служит в Париже в шляпном магазине и очень сожалела бы о сожженных деньгах, если бы она и в самом деле их сожгла. О политическом вреде, принесенном ею России, она не подозревает. В

Центральном бюро Британской рабочей партии¹²⁴ сидели обыкновенные, нисколько не inferнальные люди. Они получали скромное, приличное жалованье и чрезвычайно редко жгли его в печке. Русские степи, благородные босяки, «ничего», «все позволено», Гришенька и Коллонтай, Челкаш и Зиновьев – как же было во всем этом разобраться занятым политическим деятелям Англии.

<...>

Да, они с большевиками любезны, но они ли одни? <...> ... им, как всем, вообще довольно безразлично то, что ни прямо, ни косвенно их интересов не касается. Главным образом, им можно поставить в упрек тот необыкновенный, возвышенный тон, которым подносится миру самая обыкновенная прозаическая политика. Большевиков они не любят. Они всю жизнь нападали слева; нападать справа им непривычно и неудобно. Многие из них были бы в душе рады, если бы генералы свергли большевиков: всем им было бы настолько приятнее ругать и поносить генералов.

Можно полагать, что и члены делегации, люди ученые и хорошо известные в Европе – К.Р. Кровопусков, П.Н. Милюков, А.А. Титов, С.Н. Третьяков и др., ничего, кроме просьб и негативных эмоций, на переговорах с англичанами и французами предложить не могли, а самое главное, не в состоянии были вразумительно объяснить, как так вышло, что к власти пришли большевики – представители одной из самых малочисленных фракций российской социал-демократии, лидер которых Ленин не имел якобы, как утверждает Алданов в своей развернутой статье «Картины Октябрьского переворота (1935 г.), в тот момент поддержки не только у «широких народных масс», но даже и в Центральном комитете собственной партии. <...> Захват власти большевиками в октябре 1917 года оказался полной неожиданностью для союзников [АЛДАНОВ (XI)].

Но и для всей российской антибольшевистской оппозиции, противопоставившей себя «красным» как «белое движение», он тоже был или необъяснимым, или конспиратологическим феноменом типа «жидо-массонского заговора». Судя по тексту статьи «Из воспоминаний секретаря одной делегации», никто из членов делегации, включая самого Алданова, не имел ответа на вопрос: «Как же это могло случиться?».

<...>

По совести, я и теперь, через двадцать лет, не знаю ответа <...>. Кто прожил 1917–1918 годы в Петербурге, кто видел собственными глазами, сколько раз все висело на волоске, от каких случайностей зависел исход уличного боя и 3 июля, и в день октябрьского переворота, и в пору восстания левых эсеров, тот очень подумает, прежде чем дать «победе пролетариата» ученое, историческое, социологическое объяснение. И с горестным недоумением остановится он перед истинно дьявольским счастьем большевиков, перед злым роком, тяготевшим над всеми их противниками без различия направлений. Армия Юденича подходит к воротам Петербурга, армия Комитета Учредительного Собрания имеет все шансы взять Москву – и оба кончаются разгромом. В течение нескольких часов Дзержинский со

¹²⁴ Имеется в виду Лейбористская партия (англ. Labour Party – Партия труда), одна из двух ведущих политических партий Великобритании, основанная в 1900 г. Является социал-демократической партией (ранее определялась как «демократическая социалистическая»), деятельность которой изначально была тесно связана с британским профсоюзным движением.

своим штабом находится в плену у дружины левых эсеров – и он же эту дружину арестует. В Москве Каплан три раза в упор стреляет из браунинга в Ленина – и через шесть недель он снова председательствует в совете народных комиссаров. Под Екатеринодаром веселый командир говорит полупьяному артиллеристу: «Васька, ну-ка жарь туды еще разок!» – и снаряд, пущенный с нескольких верст расстояния, убивает наповал генерала Корнилова... – здесь и ниже [АЛДАНОВ (XI)].

Читая сегодня эти горькие строки, являющиеся одновременно у Алданов серьезными фактическими свидетельствами в пользу его «теории случая», нельзя не задаться вопросом: «Почему он столь упорно игнорирует очевидное – то, что большое число повторяющихся случайностей для ограниченной временной выборки явно свидетельствует о наличии определенной закономерности?» Ведь как химик Алданов, не может, например, не знать о Периодическом законе, открытом в свое время его соотечественником Дмитрием Менделеевым. Этот закон, в частности, иллюстрирует собой пример логического «упорядочивания видимых случайностей», утверждая, что многочисленные химические элементы и их соединения не есть случайное скопление обособленных веществ, не связанных друг с другом и не имеющих между собой ничего общего, как считали когда-то, а представляет собой некую закономерность – систему, в которой виды, характер и свойства различных соединений химических элементов находятся в неразрывной связи и во вполне определённой периодической зависимости от величины порядкового номера химического элемента (заряда атомного ядра). Казалось бы, Алданову, как ученому, куда продуктивней было бы искать факты и связи между ними, а не валить все промахи и неудачи либеральных демократов и «белого движения» в целом на случай. Кое-какие факты, впрочем, Алданов учитывает как «значащие» и анализирует. Так, например, в другом месте статьи «Картины Октябрьского переворота» он пишет:

Я видел на своем веку 5 революционных восстаний и не могу отделаться от впечатления, что в каждом из них все до последней минуты висело на волоске: победа и поражение зависели от миллиона никем не предусмотренных вариантов.

<...>

«Можно без преувеличения сказать, что июнь 1917 года был месяцем величайшей клеветы в мировой истории».

Этими словами Троцкий заканчивает. Величайшая клевета на большевиков заключалась в утверждении, что они в 1917 году получали на свое дело деньги от немцев.

<...>

Есть значительная доля преувеличения в словах «деньги – нерв войны». Не менее преувеличенной оказалась бы эта формула в применении к революции. Однако без денег никакой революции действительно не сделаешь. Нет поэтому греха в том, чтобы уделить первый очерк вопросу, ныне весьма академическому: откуда брали деньги большевики? Временное правительство было убеждено, что их снабжают деньгами немцы.

<Троцкий в > одной из глав своего <...> труда «Октябрьская революция» <утверждает, что это обвинение есть> «величайшая клевета в мировой истории».

<...> Откуда же большевики получали деньги? Да очень просто. «Рабочие с большой готовностью делали отчисления в пользу Совета и советских партий».

<...>

Автору этих строк доподлинно известно, что одна малочисленная политическая партия, которая агитацией почти не занималась и издавала во всей России лишь одну небольшую газету (ТНСП – *М.У.*), издержала за 1917 год до 100 тысяч рублей (сумма эта составила из пожертвований нескольких богатых членов партии и сочувствовавших ей лиц). У большевиков, как указывает Троцкий в другом месте своего труда (станет ли американский сноб вспоминать и сопоставлять?), был в 1917 году 41 орган печати, и агитацию они вели, как всем известно, тоже «величайшую в мировой истории». Богатых людей среди них не было, за исключением Красина, не любившего жертвовать свои деньги. <...>. Правда, у русской буржуазии до революции можно было получить деньги на что угодно, от футуристского журнала до большевистской партии. Но в 1917 году не было и уже не могло быть такого дурака капиталиста, который стал бы давать деньги большевикам. Впрочем, на пожертвования богатых людей Троцкий ссылки и не делает: все давали рабочие. Другие большевистские публицисты, более строго следуя терминологии 1917 года, говорили даже: «рабочие и солдаты». Но Троцкому, верно, стало совестно: солдаты у нас получали, помнится, два рубля жалования в месяц. Нет, все давали рабочие, одни рабочие.

<...>

Время политической полемики по вопросу об источниках большевистских средств в 1917 году давно прошло. Историк же, я полагаю, будет считаться со следующими положениями: большевики в 1917 году тратили огромные суммы; денег этих им русские рабочие давать никак не могли; не мог давать им средства и никто другой в России; могли дать эти деньги лишь «германские империалисты»; германские же империалисты были бы совершенными дураками, если б не давали большевикам денег, ибо большевики, стремясь к собственным целям и не будучи немецкими агентами, оказывали Германии огромную, неоценимую услугу.

Алданов также полагал, что

если бы Ленин дожил до периода мемуаров или исторических трудов, он оказался бы смелее и откровеннее Троцкого. Немецких денег он, так же как и Троцкий, в свой карман не клал, но, в отличие от Троцкого Ленин чужим мнением интересовался мало <...>. Не стеснялся он дела Таратуты, не стеснялся фальшивых ассигнаций, не стеснялся тифлисского мокрого дела – незачем ему было столь стыдливо относиться и к немецким деньгам, весьма удачно им использованным в интересах большевистской партии.

<...>

<После Февральской революции возникли две властные структуры— Временное правительство, работавшее в Зимнем дворце, и Предпарламент, заседавший в Мариинском дворце – *М.У.*>.

Предполагалось, что благодаря предпарламенту Временное правительство будет знать «честный голос разных оттенков общественного мнения». Однако в 1917 году все решительно представленные в парламенте оттенки политической мысли имели свои газеты. В передовых статьях суждения высказывали вожди партий, тогда как в Мариинском дворце мог говорить любой желающий, – и мало кто себе в этом удовольствии отказывал. Правительство, следовательно, могло знать голос общественного мнения и без Предпарламента (который отнимал у него значительную часть времени и сил).

Предполагалось, наконец, что Временный совет окажет моральную поддержку правительству в его борьбе с большевиками. Это было главной задачей тех дней. Но такой поддержки предпарламентское большинство министрам не оказывало.

<...>

В те самые дни, когда в «кулуарах», а точнее, в аванзале Мариинского дворца, только и речи было, что об очередной формуле очередного перехода к очередным делам, большевики приступили к непосредственной подготовке государственного переворота. Решение это, как всем известно, было ими принято 10 октября на заседании Центрального комитета партии, происходившем на Карповке, в доме № 32, в квартире № 31. Квартира эта принадлежала меньшевику-интернационалисту Н.Н. Суханову. «Для столь кардинального заседания, – писал хозяин квартиры, – приехали люди не только из Москвы <...>, но вылезли из подполья и сам Бог Саваоф со своим оруженосцем». Это значит, что на заседание прибыл, в сопровождении Зиновьева, сам Ленин. Оба они после неудачной июльской попытки восстания скрывались тогда в подполье.

<...>

Не могу отрицать, что если не шахматная партия <восстания>, то основная ее идея была <...> намечена <Лениным> с первых дней революции, и что он проявил при этом замечательную политическую проницательность (о силе воли и говорить не приходится). <При этом> разброд и растерянность у большевиков были в ту пору почти такие же, как у их противников, а в смысле «идеологии» и гораздо больше.

<...>

10 октября из Москвы в Петербург приехали большевики Ломов и Яковлева. В столице Свердлов им сообщил, что на Карповке в квартире Суханова состоится важное совещание Центрального комитета: приедет сам Ильич. Яковлева в своих воспоминаниях, к сожалению, весьма кратких, говорит, что вели они себя в тот день не очень конспиративно: пошли в кофейню, по дороге встретили Троцкого и Дзержинского, вместе закусили и направились на Карповку; разделились для конспирации лишь у самого дома № 32. В квартире № 31 были приготовлены самовар, хлеб, колбаса: заседание ожидалось продолжительное. Кроме названных, там собрались Сталин, Коллонтай, Урицкий, Каменев, Бубнов, Сокольников. Когда все были в сборе, появился неизвестный человек: «бритый, в парике, напоминающий лютеранского пастора». Это был Ленин. Его сопровождал, тоже загримированный, Зиновьев. Можно предположить, что последовали шутки, смех по случаю грима, изъясления радости после разлуки: Ленин довольно долго скрывался в подполье. Можно также предположить, что шуточный тон исчез очень скоро. Обо всем этом Яковлева ничего не сообщает. Но мы имеем основания думать, что «пастор» был настроен отнюдь не ласково.

<...>

На заседании 10 октября было решено устроить вооруженное восстание для свержения Временного правительства. Можно было бы предположить, что картина столь важного заседания должна теперь быть нам известной во всех подробностях. В действительности это совершенно не так. Ленин, Свердлов, Дзержинский умерли, не оставив воспоминаний (нам, по крайней мере, об

их мемуарах ничего не известно). Не спешат подробно описать историческое заседание и еще живущие его участники. Кое-что они все-таки сообщили.

<...>

Официозный историк октябрьского переворота С. Пионтковский говорит, что резолюция о вооруженном восстании была принята «после небольших прений» большинством всех голосов против двух (Каменева и Зиновьева). То же следует и из официального протокола. В действительности эти небольшие прения длились не менее 10 часов! «Поздно вечером, вероятно, уже после 12 час^{ов}, было вынесено решение», – вспоминает Яковлева. «Заседание продолжалось около 10 часов подряд, до глубокой ночи», – пишет Троцкий в 1933 году. Тринадцатью годами раньше, когда подробности заседания должны были быть в его памяти свежее, он говорил еще определеннее: «Заседание продолжалось всю ночь, расходиться стали на рассвете. Я и некоторые гг. остались ночевать».

Официальная версия такова: Ленин много раньше всех других большевиков задумал гениальную шахматную партию; на заседании 10 октября он предложил устроить вооруженное восстание; предложение это с восторгом приняли все участники совещания, кроме Зиновьева и Каменева; 25 октября алексинская партия была блестяще разыграна; одни играли лучше, другие хуже – это, повторяю, зависит от года на обложке издания, – но за исключением двух заблудших людей все участники заседания 10 октября пошли на дело с энтузиазмом.

В действительности все было совершенно не так. Мысль о восстании встретили без всякого восторга не только Каменев и Зиновьев. Но я здесь ограничусь изложением хода заседания. Вступительное слово сказал председательствовавший Свердлов. Троцкий кратко говорит, что вступление было «не во всех своих частях достаточно определено». Яковлева пишет то же самое: «Я совершенно не помню, что говорил т. Свердлов. Впечатление было не очень определенное». Это понятно: Свердлов был маленький, бесцветный человек; так как никакими талантами он не обладал, то большевики обычно говорят, что у него был «организационный талант» – понятие весьма туманное и в большинстве случаев ровно ничего не значащее. Со своим организационным талантом Свердлов, по образованию аптекарский ученик, мог бы стать недурным аптекарем в провинции – он стал через две недели главой Советского государства: вероятно, как и Калинин, по декоративным соображениям.

Затем слово было предоставлено Ленину.

У нас есть некоторые основания предполагать, что глава большевистской партии находился в то время в состоянии бешенства, почти граничащем с невменяемостью. Он держал курс на восстание, но партия колебалась, сомневалась, не знала даже в точности, чего она хочет.

<...>

Во многих отношениях интересно это совещание, сыгравшее столь огромную роль в судьбах России. Участвовали в нем разные люди: были среди них и типичные будущие *révolutionnaires en jouissance*¹²⁵, были люди искренние, но, по слову летописца, «скорбные главою и не гораздые грамоте»,

¹²⁵ *révolutionnaires en jouissance* – фр. революционеры по призванию.

был подлинный *fillius Terrae*¹²⁶ Троцкий, были люди случайные, были и самые настоящие гангстеры – не те мелкие неудачливые гангстеры, которых сажают в тюрьмы, а крупные, исторические обер-гангстеры, те, которые сажают в тюрьмы других. Почти все они презирали и ненавидели друг друга – об этом мы можем судить по их собственным печатным отзывам, частью более ранним, частью более поздним. Особенно же презирал своих учеников и последователей сам глава партии (о чем некоторые из них, вероятно, с изумлением узнали из знаменитого завещания).

<...>

По-видимому, две черты особенно отталкивали Ленина от Сталина и Троцкого, бесспорно наиболее выдающихся членов его партии: их мелкое тщеславие и чисто личный подход к революции. Во многом другом он вполне их стоил. Ленину было совершенно все равно, какие люди идут с ним и сколько крови прольют эти люди. <...> Ленин не любил и не ненавидел людей, которых истреблял: он просто о них не думал, это было ему совершенно неинтересно. Но он был неличный и не тщеславный человек. Почести ему были не нужны, этим он резко отличался от других большевистских вождей. <...> Думаю, он расвирепел бы, если бы прочел в советских газетах, что «вершины человеческого ума – Сократ и Ленин», что «лучше всех в мире знает русский язык Ленин», что «кантианство нельзя понять иначе как в свете последнего письма товарища Ленина» и что «в сущности, некоторые предвидения Аристотеля были во всей полноте воплощены и истолкованы только Лениным».

<...>

В тот день, 10 октября, Сталин и Троцкий, несомненно, поддерживали вождя партии. Но другие, многие другие отказывались идти на вооруженное восстание или, по крайней мере, мучительно колебались. По-видимому, все заседание свелось к бешеным нападкам Ленина на колеблющихся членов Центрального комитета. Через несколько лет Троцкий вспоминал: «Непередаваемым и невозпроизводимым остался общий дух этих напряженных и страстных импровизаций, проникнутых стремлением передать возражающим, колеблющимся, сомневающимся свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество».

Были, значит, при «небольших прениях» и возражающие, и колеблющиеся, и сомневающиеся? Все таки это понятия не совсем тождественные. Значит, дело было не только в Зиновьеве и Каменеве? И правда, на спор с двумя членами Комитета из двенадцати Ленин не потратил бы десяти часов – зачем ему были бы нужны эти два человека, если все остальные шли за ним с восторгом? Добавлю, что тут же было избрано для руководства восстанием бюро из семи лиц. Протокол отмечает, что в него выбираются Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников, Бубнов. Дело непонятное: Зиновьев и Каменев – и только они одни – не хотят никакого восстания, и именно их назначают в руководящее бюро! Они даже названы в протоколе первыми после Ленина. Едва ли это было бы возможно, если бы действительно колебались только они двое. Напротив, при колебании гораздо более общем это избрание представляется вполне естественным.

¹²⁶ *fillius Terrae* – фр. дитя природы.

Прения были бурные, беспорядочные, хаотические. Дело было уже не в одном восстании – говорили о самом существовании, об основной цели партии, о Советской власти: нужна ли она? Зачем она? Нельзя ли обойтись без нее? «Наиболее поразило, товарищи, – рассказывал Троцкий в неприлизанных, импровизированных воспоминаниях на вечере 1920 года, – то, что когда стали (?) отрицать возможность восстания в данный момент, то противники в своем споре дошли даже до отрицания Советской власти...» Разброд был хуже, чем в предпарламенте (там хоть на принципах народовластия кое-как сходились почти все). К концу заседания, поздней ночью, Ленин одержал победу. «Спешно, огрызком карандаша, на графленном квадратиками листке из детской тетради» он написал резолюцию: партия призывает к устройству вооруженного восстания. Резолюцию проголосовали. Официальный протокол свидетельствует: «Высказывается за 10, против 2». Но вот Яковлева, та самая, которая вела протокол (если он действительно велся), в воспоминаниях говорит не совсем так: ЦК принял резолюцию большинством голосов против двух «при одном или двух воздержавшихся». Троцкий же в 1920 году вспоминал уже совсем иначе: «Соотношения голосов я не помню, но знаю, что пять-шесть голосов было против. За было значительно больше, наверное, голосов десять, за цифры я не ручаюсь». В 1933 году он почему-то возвращается к официальной версии: «За восстание голосовало 10 против 2». Но зато очень убедительно показывает, что одной ступенью ниже собравшегося на Карповке собрания главных вождей вожди менее главные колебались и мучились, как Каменев и Зиновьев.

Дебют шахматной партии не блистал уверенностью.

<...>

«Из честной коалиции образовалась компания "Кох" и "Ох" с коммивояжером Керенским... Уйдите-ка отсюда прочь, мразь проклятая! Не виляйте хвостом у этого стола, а то здесь такую крошку вам бросят, что вряд ли проглотите».

Так писало в сентябре 1917 года одно из большевистских изданий. Поэзия в лице прославленного советского стихотворца старалась не отставать от прозы по изяществу:

Смерть гадам! Убейте их всех до единого!
Покончив с проклятыми гадами,
В одиночку, полками, отрядами,
Избавясь от гнета господской орды,
Все в братские наши вступайте ряды!..

Конечно, писали это люди, именуемые в политике «безответственными». Но «ответственные» их печатали, да и сами ушли от них недалеко.

<...>

Историку или историческому романисту впоследствии, вероятно, будет казаться, что <...>, жизнь в Петербурге <в октябре 1917 г.> должна была быть чрезвычайно жуткой, необыкновенной, фантастической. Свидетельствую как очевидец, что этого не было. Жизнь девяти десятых населения столицы протекала почти так, как в обычное время. Шла будничная работа в канцеляриях, в конторах, в лавках, в учебных заведениях. Человек, живший

где-нибудь в Галерной гавани или у Митрофаньевского кладбища, мог в среду 25 октября провести весь день на работе и ночь у себя на квартире, не имея представления о том, что в России произошла советская революция. <...> Где-то у Невы стреляют? Что ж, теперь стреляют нередко. На площади Зимнего дворца шли бои, по центральным улицам носились грузовики с вооруженными людьми, одновременно озверелыми и растерянными.

<...>

Но люди на окраинах Петербурга, верно и не догадывались, что происходят великие исторические события.

<...>

... то же относится к интеллигенции или, по крайней мере, к значительной ее части. Театры в конце октября собирали полные залы. В те дни как раз выпали две театральные сенсации: Шаляпин пел в «Дон Карлосе» – в этой опере он редко выступал в России. В «Палас-театре» Т. П. Карсавина должна была, кажется, впервые выступить в оперетке («Куколка») в пользу какого-то благотворительного учреждения.

<...> Устраивались всевозможные лекции: литературные, философские, социально-политические. В учебной комиссии с длинным и трудным названием («Комиссия по разработке проекта основных законов при Юридическом совещании при Временном правительстве») обсуждался вопрос о верхней палате. Один приват-доцент требовал, чтобы она была совершенно равноправна с нижней палатой. Другой соглашался предоставить ей только право вето.

Земля продолжала каруселить под солнцем как ни в чем не бывало.

<...>

О конце Временного совета республики сказать нечего – этот конец известен. На заседании 24 октября А.Ф. Керенский сообщил, что большевики начали восстание. После его речи обсуждался вопрос о доверии. <...> люди, не очень любившие Временное правительство, выразили ему безоговорочное доверие; партия же, к которой принадлежал глава правительства, <хотя время было неподходящее для каких бы то ни было споров, условий и оговорок>, поставила условия <...>. За формулу социалистов- революционеров было подано 123 голоса, против нее 102. Воздержалось 26 членов предпарламента, в том числе Вера Фигнер и Н.В. Чайковский. Большевики отлично использовали этот результат.

Через несколько лет, в эмиграции, Чайковский с горечью говорил мне, что воздержался тогда от голосования совершенно случайно: «просто не разобрал в этом хаосе, в чем дело»... По-видимому, воспоминание это было ему тягостно – ведь двадцати двух голосов было бы достаточно, чтобы провалить формулу <социалистов>-<революционеры>. Николай Васильевич, конечно, преувеличивал значение и голосования 24 октября, и других голосований предпарламента, и всего этого учреждения вообще. Но верно то, что в решительную минуту моральный удар нанесло правительству то самое учреждение, которое якобы было создано для оказания ему моральной поддержки.

Любитель поэтического стиля тут непременно вспомнил бы о Немезиде – Немезида предпарламента на следующий день около часа пополудни подкатила к Мариинскому дворцу в образе броневика с надписью «Олег». Под «Олегом» значились буквы: РСДРП-б. Почти одновременно ко дворцу

подошли части Литовского и Кексгольмского полков. Из броневика вышли три большевистских офицера – уж я не знаю, что это были за офицеры. Старший из офицеров предложил членам Временного совета республики немедленно покинуть дворец.

Газеты на следующий день сообщали, что «некоторые члены Совета после заявления офицера удалились». По-видимому, некоторых членов Совета было даже довольно много, так как осталось всего 106 человек. Оставшиеся начали совещаться; мнения разделились, и тут пришлось прибегнуть к голосованию. Большинством в 59 голосов против 47 принята была резолюция: разойтись, уступая насилию. В меньшинстве голосовали «цензовые элементы», народные социалисты, большая часть кооператоров и несколько социалистов-революционеров.

Это было репетицией разгона Учредительного собрания – в памяти потомства та сцена совершенно заслонила эту. Нисколько не обвиняю в недостатке мужества 59 членов предпарламента, которые «уступили насилию». В большинстве это были старые революционеры; иные из них в своей работе не раз рисковали головой и, по общему правилу, прожили более бурную жизнь, чем публицисты, профессора, кооператоры меньшинства. В чем тут было дело, не берусь сказать. Вполне допускаю, что они «склонились перед заблудшей волей народа» (популярное выражение того времени); броневик «Олег» с буквами РСДРП-б мог оказать в этом смысле магическое действие, если не на социалистов-революционеров, то на меньшевиков – соответственных подержанных слов носилось в воздухе сколько угодно: «обманутая народная стихия», «пролетариат, временно увлеченный безответственными лозунгами демагогов», и т. п. Надо же было и здесь быть левее каких-нибудь кадетов, эн-эсов или правых <эсе>ров.

<...>

Основные события 25 октября так известны, что я могу здесь о них напомнить лишь в нескольких словах. За ночь восстание развилось быстро и грозно. Самым неожиданным образом выяснилось, что почти никаких вооруженных сил в распоряжении Временного правительства в Петербурге нет. Петропавловская крепость «объявила нейтралитет». Отдельные воинские части выносили путаные, туманные резолюции. Тот ничего не поймет в октябрьском перевороте, кто оставит в стороне Петербургский гарнизон и вечную тревогу его солдат: вдруг отправят на фронт? Большевики не отправят, а буржуи, может, и отправят. Не виню этих тёмных людей: многие из них провели три года в окопах, в очень тяжёлых условиях, каких западные армии не знали. В казармах речи лучших ораторов 1917 года все чаще разбивались о довод: «Сам в окопы ступай вшей кормить!..» Но резолюции о «нейтралитете» писались, конечно не солдатами – а у полуинтеллигентов, сочинявших их в Смольном, почему-то был в чести стиль столь же «левый» и бешеный, сколь выпененный и непонятный.

<...>

Правительство вызвало войска с фронта, А. Ф. Керенский выехал за ними в автомобиле. <...> В ожидании подкреплений Временное правительство заперлось в Зимнем дворце. Днём дворец окружили вооруженные силы большевиков. С Невы направил на него орудия крейсер «Аврора» – главный козырь восстания: против артиллерии крейсера юнкера и казаки были совершенно бессильны.

<...>

С разгромом предпарламента главной говорильней столицы оставалась Городская дума. Там вечером и состоялось необыкновенное заседание. Гласные уже приблизительно знали, что происходит на площади Зимнего дворца. Настроение у всех было, разумеется, очень повышенное <...>.

<...> ...предложение о том, чтобы вся Дума пошла в Зимний дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: «Да, иду умирать и т. п.»

Поименное голосование! Сколько сот человек в нем участвовало? Сколько времени оно длилось? В романе моем из той эпохи я эти строчки репортерского отчета использовал как символ. Повторяю, газетные отчёты написаны в тоне восторженном, подозревать их авторов в том, что они задавались памфлетными целями, невозможно. Все это изумительное заседание теперь кажется совершенно невероятным. Тогда у многих лились слезы восторга.

Городская дума с Советом крестьянских депутатов действительно вышли на улицы и направились к Зимнему дворцу. У Казанского собора их, без единого выстрела, задержал большевистский патруль. Они «подчинились насилию» и повернули назад. Иначе поступить они, конечно, и не имели возможности. Однако в день восстания встречу с патрулем можно было, собственно, предвидеть. Никто не обязан умирать за идею, но никто и не должен в таком случае клясться, что умирает за идею через три четверти часа. Поименное голосование на тему «да, иду умирать и т.п.» (именно «и т.п.») было положительно излишним. Гласные Петербургской думы не умерли; <...> не умерли и члены Совета крестьянск<их> деп<утатов>, ждавшие для смерти лишь думского вотума; не умер ни пятигорский городской голова, ни гласный Саратовской думы, ни представители районных дум, ни члены бюро печати – никто не умер. В добром здоровье, слава Богу, проживает сейчас во Франции и почтенный общественный деятель, председательствовавший на этом заседании.

<...>

После этой исторической и истерической сцены отдыхаешь душой над тем, что происходило в Зимнем дворце. За худшим, что было в февральской революции, теперь отметим лучшее. Тут русской демократии стыдиться нечего. Многим она может и гордиться, в частности после того, как демократия итальянская и особенно немецкая частью реабилитировали русскую: те отдали власть Муссолини и Гитлеру без единого выстрела.

Очень многое можно было бы сказать о символике того страшного вечера на Дворцовой площади. Это был последний день политической истории Зимнего дворца. Собрались в нем люди разные. Некоторое подобие последней коалиции создалось на развалинах погибающего государства. Были здесь социалисты и консерваторы, генералы и революционеры, бедняки-рабочие и миллионеры, принадлежавшие по рождению к богатейшим семьям России. Среди военных защитников Дворца преобладали юнкеры – в их числе было очень много левых. «К ним, – говорит историк, – присоединился вечером отряд казаков- «стариков», не согласившихся с решением своей «молодежи» – держать нейтралитет в завязавшейся борьбе. Пришли также инвалиды – георгиевские кавалеры. У большинства этих немолодых усталых людей, вероятно, не было особой любви к Февральской революции. Но в душах их еще

жил государственный инстинкт, без которого ведь не могла все-таки в процессе столетий создаться огромная империя».

Военное руководство делом борьбы с большевиками в эти решительные часы по праву должно было бы в Петербурге отойти к генералу Алексееву. Но старый генерал, привыкший к другой войне, так недавно командовавший самой многочисленной армией в истории, считал дело совершенно безнадежным.

<...>

Во дворце было несколько высших офицеров. Кто из них руководил обороной, не берусь сказать. Генерал Маниковский? Адмирал Вердеревский? Собственно, и руководить было нечем. Душой обороны был, по-видимому, штатский – Пальчинский, много позднее расстрелянный большевиками. Я немного знал его: это был умный, блестящий, очень смелый человек. Никак не проявили недостатка мужества и другие собравшиеся тут политические деятели. Не прийти под тем или иным предлогом было очень легко – явились, однако, все. Не трудно было и бежать: среди осаждавших дворец идеалистов с «горящими глазами» были, по свидетельству очевидца, люди, за деньги выпускавшие отдельных лиц, – не бежал никто. Никаких клятв в Зимнем дворце не произносили ни скопом, ни отдельно, ни в поименном, ни в ином порядке: но все остались на своем посту до последней минуты, отлично зная, что рискуют страшной смертью и что положение почти безнадежно.

Маленькая надежда все же оставалась. Как братья погибающей жертвы Синей бороды в старой сказке Перро, – могли вовремя подоспеть с фронта вызванные оттуда войска. С минуты на минуту должна была открыться огонь «Аврора». Но также с минуты на минуту должны были появиться и спасители. Шли бои, осаждавшие ворвались во дворец, осажденные медленно отступали из зала в зал. Где-то отчаянно работал прямой провод. Звонил не выключенный еще большевиками последний телефон. Ответа не было, спасители не приходили. «Anne, ma soeur Anne, ne vois tu rien...»¹²⁷ [АЛДАНОВ (XI)].

Что касается непроясненного до сих пор вопроса о «немецких деньгах», полученных якобы большевиками, то здесь, как дополнение к картине Октябрьских событий, рисуемой Алдановым, приведем лишь один документальный факт. Известный социал-демократ, идеолог ревизионизма марксизма Эдуард Бернштейн, входивший одно время в состав правительства германской Веймарской республики в качестве заместителя министра финансов, в статье «Темная история», опубликованной 14 января 1921 года в берлинской органе германской Социал-демократической партии газете «Форвертс!»¹²⁸, писал

Антанта утверждала и утверждает до сих пор, что кайзеровская Германия предоставила Ленину и товарищам большие суммы денег, предназначенных на агитацию в России. Действительно, Ленин и его товарищи получили от кайзеровской Германии огромные суммы. Через одного друга я осведомился об этом у некоего лица, которое в силу своих связей с различными учреждениями, должно было быть в курсе дела, и получил утвердительный ответ. Правда, тогда я не знал размера этих сумм, и кто был

¹²⁷ Anne, ma soeur Anne, ne vois tu rien... (фр.) – Анна, моя сестра Анна, ты ничего не видишь... – цитата из сказки Шарля Перро «Синяя борода».

¹²⁸ «Форвертс!» («Vorwärts!», «Вперед!») – газета, центральный орган германской Социал-демократической партии в 1876–1878, в 1891–1933 гг. и в настоящее время (с 1948 г.).

посредником при их передаче. Теперь я получил сведения от заслуживающего доверия источника, что речь идет о суммах почти неправдоподобных, наверняка превышающих 50 миллионов немецких золотых марок, так что ни у Ленина, ни у его товарищей не могло возникнуть никаких сомнений относительно источников этих денег [СОБОЛЕВ. С. 468–472].

Создавая биографию Марка Алданова, человека, посвятившего всю свою жизнь в эмиграции исследованию вопроса «Почему так вышло?», нельзя не отметить, что как историограф, он так и не понял, что же все-таки произошло в России в 1917–1920 годах. Ему лишь удалось прояснить общие закономерности, присущие революции как процессу, имеющему выраженные фазы активации, развития, насыщения и вырождения (затухания), но не более того. Вот, например, его последнее обобщающее высказывание о Февральской революции, датированное 1956 г. – в статье «К 80-летию В.А. Маклакова»:

По замыслу, эта революция должна была стать торжеством «спинозизма», в условном смысле этого понятия. Так ее понимали, например, такие люди, как покойные Н.В. Чайковский или И.И. Фондаминский. Победа над Германией ожидалась скоро, должен был последовать мир без аннексий и контрибуций, и «разум» надолго, навсегда восторжествовал бы над «саблей» и во внешней, и во внутренней политике. <...> К власти пришли очень честные люди. За исключением Парижской Коммуны, во всех западных революциях делались и дела денежные, иногда на верхах, иногда очень темные. В нашей Февральской революции их не было и следа. Это относится ко всем партиям. Корнилов и Деникин были такие же бескорыстнейшие люди, как кн. Львов, Милюков или Керенский. Как «человеческий материал», русские политические деятели 1917 года были едва ли ниже деятелей французской революции <...>. Из «гигантов Конвента» (в очень общем, собирательном смысле слова) большинство тех, что на эшафот не попали, закончили дни князьями, герцогами, миллионерами. Наполеон, довольно благодушно презиравший людей, с особенным удовольствием жаловал титулы бывшим террористам и при этом через тайную полицию наводил справки, – сколько денег они нажили: у Фуше есть пятнадцать миллионов, ну, вот, значит, новый герцог Отрантский позаботился о себе, даром времени не терял и оправдал свои революционные идеалы. У нас не было ничего похожего. Русская революция, правда, сложилась так, что людям 1917 года никто титулов не предлагал и предлагать не мог, но пристроиться при новом строе, сделать хорошую карьеру мог собственно каждый. К большевикам пошла мелкая сошка. Из главных же не перебежал никто. От своих идей кое-кто кое в чем много позднее отступил, но основным мыслям почти все остались верны. Так называемый «суд истории» должен будет это зачесть.

Идеи были хорошие, люди в большинстве были хорошие. Больше ничего хорошего не было, но и этого очень много. Спасти свободный режим в России тогда могла либо быстрая победа союзников на западном фронте, либо сепаратный мир с Германией. Между тем сепаратный мир был психологически невозможен для всех, кроме большевиков [МАКЛАКОВ. С. 221].

Говоря сегодня о трагических событиях Октября 1917 г., даже при всей антипатии к большевикам, невозможно отрицать, что они, несмотря на свою малочисленность, по сравнению, например, с эсерами и энесами, пришедшими на гребне Февральской революции к власти, заявили себя хорошо организованной, деятельной и инициативной партией. Если опираться на чрезмерно тенденциозную оценку Алданова, то ни достойных людей, ни здравых идей у узур-

пировавших государственную власть большевиков не было. Своим успехом, по его мнению, они обязаны были в первую очередь Ленину – жесткому, беспринципному прагматику, который, в отличие от других политиков, имел четкую стратегию видения будущего. Всеми правдами и неправдами, но большевики, ведомые Лениным, – Льва Троцкого и других ближайших соратников Ильича Алданов ни в грош не ставил!¹²⁹ – сумели повести за собой массы, сделав то, на что не осмелилось по «этическим». Они предали союзников по Антанте и вышли из ненавистной народу войны. Этим они завоевали огромную популярность у измученных войной и недоеданием простых русских людей.

В глазах Алданова и всего «белого движения» большевики в политике вели себя «аморально», что так и было в действительности, если оценивать их действия с точки зрения старых – «буржуазных», российских обязательств и интересов. Но у большевиков была своя – «классовая мораль». Традиционные российские политические ценности и ориентиры они напрочь отвергли и хотя, по сугубо тактическим соображениям, временно делали серьезные уступки и шли на компромиссы типа Брестского мира со своими политическими противниками, с остереженного пути не сходили ни на йоту и всегда добивались своих целей. Вот и Алданов, говоря о Ленине-политике, в первую очередь отмечал, каким уникальным образом в нем

ограниченный фанатик уживается с политическим тактиком первого ранга. Во всем том, что касается методов, он совершеннейший и циничнейший оппортунист.

<...> Нет никакого сомнения, что в лице Ленина история произвела одного из самых глубоких знатоков гражданской войны, ее законов и психологии. Чего стоят одни придуманные им методы разворачивания деревни! Только ими и можно объяснить то чудо, что коммунистический режим держится три года в стране со стомиллионным крестьянским населением, вооруженным почти поголовно. [АЛДАНОВ (XIV). С. 76].

Такого рода теорию и практику Алданов не мог ни принять, ни, даже в частностях, оправдать. Не мог он, как и большинство его единомышленников в русском Зарубежье, и в эмоциональном плане дистанцироваться от происходящих в СССР событий, разработать для их актуальной оценки некую «особую» социально-политическую методику анализа. Поэтому, пристально следя за событиями в своей родной стране, Алданов даже на короткий период времени, как правило, не мог прогнозировать динамику происходивших в СССР социально-политических изменений. Судя по его переписке с В.А. Маклаковым – см. [МАКЛАКОВ], он процессы, происходившие в СССР, воспринимал поверхностно и даже «оттепель» в сущности проглядел.

Вступление Алданова после Февральской революции на политическое поприще кладет начало его карьеры и как *политического публициста*. Самым значительным произведением этих лет является его памфлет «Армагеддон»¹³⁰. Эта книга, вышедшая в свет как издание, напечатанное «на правах рукописи», а значит, являющее сугубо частной публикацией, также имеется в библиотечном собрании Максима Горького. На ней проставлена дарственная надпись: «Алексею Максимовичу Пешкову-Горькому в знак глубокого уважения. 25 / VII–1918. М. Ландау». Однако сведений, что Горький, в то время страстный обличитель большевиков, обратил серьезное внимание на этот труд Алданова, не найдено.

¹²⁹ Среди представителей «ленинской гвардии» было немало высокообразованных, инициативных и умных интеллектуалов, умевших, в отличие от их политических противников, разговаривать с массами и увлекать их за собой. Большевики, впервые в истории, успешно использовали массовую агитацию и пропаганду для достижения своих политических целей, – см. об этом «Пропаганда в годы Гражданской войны»: URL: <https://www.svoboda.org/a/24204589.html>.

¹³⁰ Алданов М. А. Армагеддон. СПб.: тип. «Науч. дело», 1918.

Зато большевики книгу заметили и как крамольное издание сразу же изъяли из обращения. Возможно, по этой причине «Армагеддон» выпал из поля зрения современников, свидетелей Русской революции и «Великого Октября». Отдельные части книги, однако, в виде статей – «Из записной книжки 1918 года» и «Картины октябрьской революции» (см. выше) публиковались Алдановым в эмигрантской периодической печати: газетах «Последние Новости» (1927 и 1935 гг.) и «Сегодня» (1935 г.).

Куда труднее объяснить отсутствие интереса к «Армагеддону» у алдановедов – в весьма обширном перечне работ о творчестве Алданова не имеется ни одного научного труда, посвященного собственно этой книге. А ведь именно в ней молодой Алданов впервые предпринял попытку установить общие закономерности возникновения и протекания всех революций. Более того, оказавшись на Западе, Алданов, опираясь на идеи, сформулированные в «Армагеддоне», сразу же выпустил в Париже две книги на французском языке – «Ленин» [LANDAU-ALDANOV (I)] и «Две революции» [LANDAU-ALDANOV (II)].

Книга «Армагеддон» была не только тематически злободневна, но и оригинальна по форме, представляя собой одновременно политический памфлет и философское эссе. Ее название, а «Армагеддон» в евангельском «Откровение Иоанна Богослова» (Гл. 16. С. 16) – место, где должна состояться последняя, решающая битва между силами Бога и силами Зла, которая и ознаменует собою конец света (Апокалипсис), недвусмысленно заявляло негативное отношение автора к Октябрьскому перевороту и новой власти.

Трагически-негативная оценка существующей реальности – «О нынешних событиях все труднее мыслить иначе, как образами Апокалипсиса» – стала, со времен Революции, для Алданова нормой. Будучи одновременно гуманистом, скептиком и пессимистом, Алданов, как и его старший великий современник Зигмунд Фрейд, полагал, что массы никогда не испытывают жажды истины, а требуют иллюзий, без которых они не могут жить, и что все мы живем в очень странное время – когда прогресс идет в ногу с варварством. Такого рода видение прелести мира сего, возникшее после Великого Октября и Гражданской войны в России и закрепленное еще более чудовищными событиями Второй мировой войны, сохранялось у него до конца жизни.

«Армагеддон» предваряется кратким предисловием, в котором говорится, что составляющий ее первую часть диалог «Дракон»:

После <Февральской> революции был (с большими пропусками) напечатан во второй книжке «Летописи»¹³¹ за 1917 год. Характер вопросов, затрагивающихся в диалоге, делал возможным помещение его в названном журнале, несмотря на расхождение во взглядах между редакцией и автором, который при крайне отрицательном отношении к идеологии, господствовавшей в 1914 году, с начала войны принял «оборонческую» точку зрения.

<...>

<Во> второй части книги под названием «Колесница Джагернатха»¹³²: собраны заметки одного из действующих лиц «Дракона». Они представляют

¹³¹ «Летопись» – ежемесячный литературный и научно-политический журнал, основанный и фактически руководимый М. Горьким. Объединял писателей и публицистов, выступавших против 1-й мировой войны и национализма, в основном социал-демократической ориентации. Выходил с декабря 1915 г. В нем публиковались произведения Горького, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, И. А. Бунина, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, Р. Роллана, Г. Уэллса, А. Франса и др. Среди постоянных сотрудников были и известные большевики – Л. Б. Каменев, Ю. Ларин (М. А. Лурье), Н. Н. Суханов (Гиммер), А. Луначарский. За антимилитаристские выступления журнал подвергался цензурным преследованиям со стороны Временного правительства. В октябре 1917 г. редакция резко выступила против большевиков, после чего в декабре 1917 г. журнал был ими закрыт.

जगन्नाथ

¹³² Джагернатха (Джаганнатха; санскр. , «Владыка вселенной») – индуистское божество, почитается как одна из форм Вишну-Кришны, или как один из аспектов Шивы, Бхайрава. Ему поклоняются в

собой случайные и беспорядочные отражения чужих слов в уме односторонне мыслящего человека. Отсюда и чрезвычайное обилие цитат, и утомительное единство настроения [АЛДАНОВ (X). С. 6].

В первой части «Армагеддона», озаглавленной «Дракон», в форме диалога двух русских интеллектуалов, неких представителей научной и гуманитарной общественности: «Химика» и «Писателя» – явно ипостаси автора¹³³, анализируются события Первой мировой войны. Оба дискурса стараются избегать ура-патриотических заявлений, однако однозначно считают все же Германию зачинщицей войны, которую, хотя она – бессмысленное безумие, полагают необходимым вести до «победного конца». Жесткому критическому анализу подвергается так называемый «Манифест 93-х» – открытое письмо 93 немецких интеллектуалов в защиту действий Германии в начинающейся Первой мировой войне. Манифест был опубликован 4 октября 1914 года под заголовком «К культурному миру» (нем. An die Kulturwelt) во всех крупных немецких газетах. В нем, в частности, содержались такие вот пассажи, характеризующие идеологию германской элиты:

Выступать защитниками европейской цивилизации меньше всего имеют право те, которые объединились с русскими и сербами и дают всему миру позорное зрелище натравливания монголов и негров на белую расу. Неправда, что война против нашего так называемого милитаризма не есть также война против нашей культуры, как лицемерно утверждают наши враги. Без немецкого милитаризма немецкая культура была бы давным-давно уничтожена в самом зачатке. Германский милитаризм является производным германской культуры, и он родился в стране, которая, как ни одна другая страна в мире, подвергалась в течение столетий разбойничьим набегам. Немецкое войско и немецкий народ едины¹³⁴.

Особой критике со стороны «Химика» подвергается позиция знаменитого ученого и мыслителя Вильгельма Оствальда, одного из первых европейских физико-химиков¹³⁵ и основоположников химической кинетики – научной области, в которой, как подробно говорилось выше, подвизался и сам Алданов. Ко всему прочему, Оствальд был широко известен как автор концепции «энергетизма» в философской онтологии, согласно которой единственной реальностью следует считать энергию, а материя и дух являются не более чем формами ее проявления. В России освальдовский энергетизм, ставший своего рода альтернативой материализму и идеализму, был достаточно популярен¹³⁶, в частности, эту идею разделял Максим Горький [АГУРСКИЙ], [УРАЛЬСКИЙ (III)].

Как видно из ниже приведенного текста, многие высказывания, встречающиеся в «Дракон», оказались, увы, пророческими. По этой причине автор и объединил «Дракон» с написанной позднее, как отклик на события Октября 1917 г., второй частью книги.

джайнизме – как один из тирханкаров человек, достигший просветления благодаря аскезе и ставший примером и учителем для всех тех, кто стремится к духовному наставничеству. Ему поклоняются в форме статуй из дерева, которые раз в год в ходе праздника Ратха-ятра вывозят на улицу в огромных разукрашенных колесницах, которые непрестанно тянут тысячи людей.

¹³³ «Химик», например, как и автор, «занят работой <...> на государственную оборону. Делаем что можем» [АЛДАНОВ (X). С. 7].

¹³⁴ См.: URL: <http://www.budyon.org/k-tsivilizovannomu-miru-manifest-93-h/>. Некоторые учёные, в частности Альберт Эйнштейн, не поддавшиеся на националистическую истерию, отказались ставить свою подпись. Последующие события вынудили большинство подписантов из числа ученых с мировым именем пересмотреть своё изначальное отношение к манифесту и признать его опубликование ошибкой.

¹³⁵ В 1887 г. Оствальд вместе с Я. Вант-Гоффом основал «Журнал физической химии».

¹³⁶ См. Энергетизм: URL: <https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0132a756af6b29f947fd8532>.

Когда видишь, что сотни миллионов людей, живущих по одну сторону границы, единодушно уличают во лжи сотни миллионов людей, живущих по другую сторону, невольно берёт сомнение: существует ли действительно общеобязательные истины или даже здравые нормы человеческого рассудка. Из двух враждующих сторон, по крайней мере, одна лжет, если не обе. Тот интерес, который, говорят, правит миром, толкуется в двадцатом столетии почти столь же грубо и бессмысленно, как пять тысяч лет тому назад.

<...> Как бы то ни было, главный победитель в европейской войне уже известен: это Северо-Американские Соединённые Штаты. Известен и главный побежденный: человеческий разум.

<...> Кто бы ни был виновником войны, наш долг остается неизменным. «Вино откупорено, его нужно выпить». Я только не нахожу нужным уверять, что это отвратительное вино – благодетельный нектар. Я даже утверждаю, что все мы им отравимся.

<...> Ценности гибнут в еще большем масштабе, чем люди, и в Европе, наверное, будут даже не прежние, а гораздо худшие условия борьбы за существование.

<...> «Вся добродетель народа проявляется на поле битвы. Он там весь. Если он побежден, значит, его победитель был нравственнее, деятельней, пронизательнее, умнее и храбрее».

<...> Защитников этого взгляда всегда в изобилии поставляет самая могущественная военная держава данного исторического периода: до 1870 г. Франция, теперь Германия, в отдаленном будущем, быть может, Россия. Опровергнуть это положение трудно: оно прочно забронировано от логики непроницаемым панцирем национального самохвальства...

<...> Для победы в первую очередь нужно сознание правоты своего дела. Сознание или иллюзия?

<...> Кем, где была установлена прямая пропорциональность между силой и правом в этом лучшем из всех возможных миров?

<...> Прошу не смешивать меня с вульгарными немцедами <...>. Немецкую культуру без кавычек я высоко ценил и ценю.

<...> Меня глубоко возмущает гигантская переоценка ценностей, произошедшая на наших глазах в Германии. Вместо идеализма вырос национализм, вместо Канта – Крупп и вместо Шиллера – шуцман.

<...> По-моему, взрыв коллективного умопомешательства, которым мы нынче любуемся, возможен во всякое время и – увы! – не только в Германии.

<...> Культурный прогресс, по-видимому, сводится к уменьшению разницы в умственном росте между толпой и образованным меньшинством, это уменьшение может быть достигнуто повышением уровня толпы и понижением уровня меньшинства, следует признать, что мы идем по второму пути несколько быстрее и, чем по первому.

<...> Я восхищаюсь той легкостью, с которой разные Вольтеры превратились внезапно в фельдфебелей. Вы жалуетесь, что немцы «переменились». А вы сами, старый либерал – идеалист? Вы ничему не научились, но все позабыли.

<...> Англия дала миру свободу слова и свободу совести, habeas corpus¹³⁷ и право убежища, самоуправление и народное законодательство. О

¹³⁷ Habeas corpus (лат.) – название закона (по первым словам) о свободе личности, принятого английским парламентом

Франции говорить нечего: она почти полтора столетия служит лабораторией великих социально-политических опытов. Но немецкие страны в течении XVIII, XIX и XX веков <...> были храмом реакции, где распутные весталки беспрестанно гасили огонь, который цивилизованные люди считают священным. Милитаризм, национализм, шовинизм, гекатизм, антисемитизм, – все эти измы если не были созданы в Германии, то непременно расцветали в ней особенно пышным блеском.

<...> Германская цивилизация, с некоторых пор завоевывающая мир почти во всех областях проявления человеческой деятельности, естественно, обладает свойствами могущественных цивилизаций – *parvenue*¹³⁸. У неё нет аристократической самоуверенности английской культуры, нет того утонченного *charme* <шарма>, того аромата очарования, которым окружена старинная французская цивилизация, на мой взгляд, величайшая, во всяком случае наиболее тонкая из всех когда-либо существовавших. Общее место, усматривающее основную черту немецкой жизни в грубой практичности, в сущности, близко к истине, – как большая часть общих мест.

Война есть зло. Война есть добро. Вот две аксиомы, между которыми нужно сделать выбор. Казалось бы, выбор нетрудный: что уж тут хорошего, если цивилизованные люди режут друг друга и совершают всевозможные преступления, прикрывая их звучными латинскими именами, как репрессия, реквизи́т, контрибу́ция. Однако мы знаем, что с тех пор, как мир стоит, и та, и другая аксиома принимались огромным большинством людей с весьма существенными ограничениями, которые сильно сблизили сторонников самых различных взглядов в их отношении к войне. Абсолютным пацифистом был (вернее, хотел быть) разве только Л.Н. Толстой. Громадное же большинство культурных людей нашего времени не стоит на точке зрения абсолютного пацифизма.

<...> Дэвид Юм утверждал, что вечная война превращает людей в диких зверей, а вечный мир – во выючных скотов. Великий английский мыслитель, правда, не объяснил, сколько именно времени люди могут жить в мире, не превращаясь в скотов, и сколько им нужно воевать для того, чтобы превратиться в зверей.

<...> По-видимому, в войне есть бесконечная притягательная сила. <...> Точно зачарованные, люди смотрят в пасть Дракона...

<...> Надо ли вводить элемент клоунады в явление мировой трагедии? Я от всей души желаю полного поражения Германии, – победа было бы величайшей катастрофы цивилизации...

<...> Можно не стремиться к тому чтобы стать «выше свалки» (как Ромен Роллан), но обязательно ли становиться ниже ее?

<...> Чем кончится нынешняя трагедия? Кто знает? <...> На троне теперь сидит его величество случай, определяющий исход войны, от которого и зависит все остальное.... Ошибка вершителей судьбы Европы, заключается в том, что они считают свою власть основанный на каком-то незыблемом принципе, будь это божественное право, парламентаризм, комбинация божественного права с парламентаризмом или что-нибудь еще. На самом же деле власть их покоится главным образом на силе принуждения и на

в 1679 г.

¹³⁸ *Parvenue* (фр.) – выскочка, пробившийся в аристократическую среду.

инстинктивной тяге к порядку со стороны широких народных масс. Мировая война, с ее неслыханным размахом, медленно подтачивает вторую из этих опор <...>. Что, если рано или поздно, подломится и первая опора? Мы видим перед собою страшные кольца змея великой войны; стоглавый зверь мировой пугачевщины может скоро вползти на арену. Какое из чудовищ победит? Какой ужасный дракон родится в результате поединка? Социалистический строй, говорят наши глубокомысленные пораженцы. Дракон всемирного одичания, склонен думать я – здесь и ниже [АЛДАНОВ (X). С. 10–49; 65–70].

Вторая часть книги «Колесница Джагернатха», написанная в форме заметок Писателя, посвящена Русской революции и событиям Октября 1917 г. Эпиграфом к ней стала фраза, характеризующая мотив сумасшествия современного мира, который был заявлен в диалоге «Дракон»:

«Tutti non sono al ospedale», что в переводе с итальянского звучит как «Не все сумасшедшие находятся в больнице». Далее следует многозначительно-символическая характеристика процессии на празднестве Кришны, когда роковой поступью катафалка проходит по полям Пури¹³⁹ тяжелая колесница Джагернатха. Кто может, идет за ней вслед. Кто хочет, бросается под колеса¹⁴⁰. Осторожные бегут прочь без оглядки.

Затем приводится пламенное высказывание чтимого Лениным и большевиками французского социалиста-утописта Бабефа:

Пусть же все станет хаосом и пусть из хаоса выйдет новый и возрожденный мир,

– и авторский комментарий, в котором современная ему действительность оценивается по «первой части этой формулы Бабефа», а ближайшее будущее – пессимистическим прогнозом, что «на вторую надежды мало».

В мировоззренческом поле Алданова безумие мира сего выражается в неразрывной связи и внутреннем единстве Первой мировой войны и революции:

Процесс, начавшийся в 1914 г., целен и неделим. Психология войны и революции одна и та же. В идеологии их очень много общего. «Налево кругом значит то же самое, что и направо кругом, только совершенно не наоборот». Всякий раз, когда я слышу, как с презрением и ненавистью бросаются слова «буржуй» или «товарищ», я вспоминаю, что «les sales boches» и «Gott, strafe England»¹⁴¹ не намного умнее. Тупость, одно из самых мощных проявлений человеческой энергии, следует, по-видимому, основному общему закону: ее количество в мире неизменно, она только меняет форму.

<...> Две роковые даты русской истории: день, когда началась проклятая война, и день, когда она прекратилась.

«Это могло случиться только в России». Кто знает? Не будем валить слишком много на русской невежество и некультурность. После «Бесов»

¹³⁹ Самый крупный праздник Ратха-ятры ежегодно проводится в городе Пури, индийского штата Орисса, где находится древний храм Джаганнатхи (Джагернатхи), являющийся одним из важнейших мест паломничества в индуизме. Согласно легенде, поклонение Джаганнатхе в Пури ведётся уже несколько миллионов лет.

¹⁴⁰ Некоторые паломники, прибывавшие на праздник, добровольно бросались под колёса многотонной колесницы, так как считалось, что такая смерть дарует освобождение и возвращает умершего в духовный мир. По этой причине искаженное имя Джагернатха, слово «джаггернаут» (англ. Juggernaut), вошло в английский язык в значение фатальной силы, лишаящей людей жизни.

¹⁴¹ «les sales boches» (фр.) и «Gott, strafe England» (нем.) – «грязные боши» и «Бог покарай Англию».

Достоевского полезно перечесть «Землю» и «Разгром» Золя. Умение читать и писать не делают человека культурным. Знание четырех правил арифметики не убивает в нём зверя.

<...>

Таким образом, если все что-то не предвидели, то одного обстоятельства не предвидели и марксисты: из тупика перепроизводства, к которому ведет тенденция развития капиталистического мира, нашелся второй, запасной выход «на случай пожара»¹⁴²: вместо обобществления ценностей произошло их разрушение, в невиданном и неслыханном масштабе.

<...>

В частности у нас в России единственным орудием производства является в настоящее время штык. В сущности, пугачевщина XVIII века открывала перед нами почти такие же возможности социализма, как пугачевщина нынешняя.

Совершенно очевидно, что после войны социализм должен все больше становиться проблемой развития производительных сил¹⁴³.

<...>

«Чистое дело требует чистых рук», – сказал мне один политический деятель, справедливо гордящийся белоснежностью своей ризы...

Каждому свое: одним людям позировать для революционных икон, другим – делать революцию. Вот чего требует, по-видимому, жизнь. Надо бы помнить исторические примеры: Минин был взяточник; Пожарский при Борисе Годунове занимался писанием доносов. Это не помешало им, однако, спасти от гибели Россию¹⁴⁴.

Чтобы окончательно расчитаться с идеологией рухнувшей Русской империи, Алданов с ядовитым сарказмом поминает ее последнего главного идеолога:

Мыслителем старого русского строя считался К.П. Победоносцев, человек большого практического ума, но совершенно ничтожный компилятор реакционных теорий, умевший черпать политическую мудрость из самых неожиданных источников. Его критика «великой лжи нашего времени», – парментаризма и прессы <...> – представляет собой буквальное воспроизведение «парадоксов» Макса Нордау без малейшего указания на источник. Заимствовать для официозного издания, выходящего под фирмой обер-прокурора Св. Синода, целые страницы из произведения главы сионистов, добавить от себя к мыслям еврея приличную дозу антисемитизма и пустить парадоксы венского фельетониста в качестве руководящих наставлений для православных священников, – этот трюк был как раз во вкусе великого инквизитора.

Эта характеристика К.П. Победоносцева может быть расширена до алдановской оценки политического строя Российской империи в целом. Алданов, как большинство русских мыслителей и политиков-либералов, возглавивших Февральскую революцию, считал необходимым провести в стране коренные реформы, которые избавили бы ее от рудиментов феодального про-

¹⁴² Имеется в виду начало Первой мировой войны в 1914 г. – см. Алданов Марк. Из записной книжки 1918 года: URL: <https://www.litmir.me/br/?b=272164&p=1>.

¹⁴³ По этой причине, верно угаданной Алдановым, большевики использовали «репрессию» как основной стимулирующий фактор экономического прогресса. См. об этом в частности [ЯКОВЕНКО И.Г.].

¹⁴⁴ Явный намек на то, что генерал Корнилов, если бы Керенский – политик, «гордящийся белоснежностью своей ризы», ему доверился, способен был предотвратить октябрьский переворот.

шлого, мешающих превращению России в великую индустриальную державу западноевропейского типа. В историческом плане одними из самых интересных в «Армагедоне» являются страницы, посвященные личности Ленина. Алданов первым из писателей-современников дал портретную характеристику главного вождя и вдохновителя Русской революции. Характеристика эта, выдержанная не в апологетических, а жестко критических тонах, звучит как весьма нелицеприятная. Эта часть книги, скорее всего, и послужила основным поводом для ее конфискации советскими властями Петрограда. Вот какой образ Ильича рисовал молодой Алданов своим читателям:

Образцом любви к людям не является и наш современный Кампанелла, генерал Дитятин русской революции¹⁴⁵, так хорошо сочетающий пугачёвский марксизм с самодурством симбирского помещика и русское примитивное лукавство с фанатизмом протопопа Аввакума.

<...>

Определяющая черта большевистской идеологии – примитивность. Г. Ленин, несомненно, очень выдающийся человек, но он примитивен, как протопоп Аввакум, которого сильно напоминает и первобытностью своего полемического темперамента: «Ни ритор, ни философ, дидаскальства и логофетства не искусен, простец человек и зело исполнен неведения». Напоминает он протопопа и своей ненавистью к противнику, глубоким презрением к чужой мысли (недаром он написал когда-то прелестную книгу против всех философов¹⁴⁶), – черта гения в одном случае, черта варвара в ста других. В политическом обиходе г. Ленина весь словарь аввакумовских ругательств, разумеется, несколько модернизированный. Но «буржуазная сволочь», «презренные дурачки» и «звери капитализма» значат, вероятно, то же самое, что «алгмей», «косая собака» или «антихристов шиш».

В частности, своих противников из лагеря социалистов г. Ленин всегда ненавидел больше, чем служителей самодержавного строя.

Надо отдать справедливость лидеру большевиков: он не церемонится и со своей братией, когда последняя осмеливается выходить из-под ферулы учителя. Неподражаема его гневная статья¹⁴⁷ о г. Зиновьеве, испытавшем мучительные минуты колебания перед вооруженным выступлением 25 октября. Совершенно так же честил Аввакум ученика, который как-то пошел против его воли: «Не помышляй себе того, дурак, еже от Бога тебя, кроме покаяние, помеловану быти... Да придет на тя месть Каинова, и Исавового, и Саулова, да пожрет тебя огонь што содомян, аще не сазришь душит своей трекоянной! Кайся, трехглавый змий, кайся, собака дура!» Аввакумова ученик, как и г. Зиновьев, действительно немедленно покался.

<...>

Протопоп царя Алексея Михайловича тоже не жаловал буржуазию: «любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси и рафленные куры: Вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной... Плюнул бы ему в рожу-то и в брюхо-то толстое ногою». Весьма вероятно, что Аввакум стоял бы

¹⁴⁵ Генерал Дитятин, старый аракчеевский служака, дающий свои оценки любому политическому и общественному явлению – сатирический персонаж произведений знаменитого писателя и актера XIX в. Ивана Горбунова.

¹⁴⁶ Имеется в виду «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» – главная работа В. И. Ленина по философии, написанная во второй половине 1908 г.

¹⁴⁷ См. «Письмо к членам партии большевиков» и «Письмо в Центральный Комитет РСДРП(б) от 18 и 19 октября 1917 года [ЛЕНИН В.И. Т. 34. С. 420–423].

теперь за додушение буржуазии и за отправку капиталистов «на шесть месяцев в рудники».

Зато в отношении свободы слова протопоп был, при всей своей ненависти к латынникам, много либеральнее г. Ленина.

<...>

Гражданин, примыкавший когда-то к меньшевикам-интернационалистам, не то к объединенным социал-демократам <...>, убедительно доказывал мне губительность большевистских действий для России, Европы, человечества, свободы, демократии и социализма. Я совершенно с ним соглашался.

– Какой же выход из положения при создавшейся конъюнктуре? – спросил он.

Я отвечал, как умел. *Medicamenta*, наверное, *non sanant*. Может быть, *ferrum sanat*?¹⁴⁸

– Ни в коем случае! – ужаснулся он. – Социализм погибнет, если они будут раздавлены силой.

В этом тоже была небольшая доля правды (правда, очень небольшая). Тем не менее я счел возможным напомнить объединенному меньшевику следующий эпизод из жизни Бодлера, рассказанный Анатодем Франсом:

«Знакомый поэта, морской офицер, показывал ему однажды изображение идола, вывезенное из диких земель Африки. Показав свою негритянскую достопримечательность, офицер непочтительно бросил ее в ящик.

– Берегитесь, – с ужасом воскликнул Бодлер. – Что, если это и есть настоящий Бог!»

Одна из любопытнейших драм наших дней – молчаливая трагедия П.А. Кропоткина. Думал ли Апостол анархического учения, что на старости лет он увидит в родной своей стране недосыгаемый идеал полного безвластия на развалинах сокрушенного государства? И думал ли он, каков будет этот идеал <...> в осуществлении кронштадтских матросов?

«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу (Апокалипсис, Гл. II, 2 б).

В «Амаргеддоне» Алданов как бы походя, не выделяя особо из всего прочего, затронул и «еврейский вопрос»:

Ненависть пролетариата к буржуазии или буржуазии к пролетариату облечется, весьма вероятно, в форму антисемитизма. Даже люди, очень довольные внешней политикой г. Троцкого, могут не простить ему того, что он распял Христа.

¹⁴⁸ *Medicamenta non sanant. ...ferrum sanat.* (лат.) – Лекарство не лечит. ...лечит железо.

Гомер говорит где-то о волшебном растении Лотос, отведав которого человек забывает о своей родине. В наше время Лотос стал русским национальным блюдом. Но рано или поздно приесться – и тогда улица проявит такую любовь к отечеству (в особенности к его дыму), что мы все превратимся в интернационалистов.

<...>

Революция <...> прошла под девизом лондонских извозчиков «keep to the left» (держи налево). Несчастье «демагогии» (определение точного смысла этого слова связано с чрезвычайными трудностями) заключается именно в том, что на смену всякого левого демагога быстро приходит демагог еще более левый.

<...>

При царях евреи рассматривались в России как национальность, вероисповедание, сословие и политическая партия. В 1913 году они стали ещё изуверской сектой¹⁴⁹. Теперь в них видят правящую касту. Но глубоко был прав Меттерних, утверждая, что всякая страна имеет таких евреев, каких она заслуживает.

Приведенные высказывания Алданова касательно евреев являются единственными не завуалированными, а более или менее конкретными соображениями по «еврейскому» вопросу в его публицистике революционных и первых послереволюционных лет. Сделаны они были, напомним, в то время, когда мутные волны антисемитской пропаганды буквально захлестывали Россию.

7 января 1918г. летописец русского еврейства Шимон Дубнов записывает: «...нам (евреям) не забудут участия евреев-революционеров в терроре большевиков. Сподвижники Ленина: Троцкие, Зиновьевы, Урицкие и др. заслонят его самого. Смольный называют втихомолку “Центрожид”. Позднее об этом будут говорить громко, и юдофобия во всех слоях русского общества глубоко укоренится... Не простят. Почва для антисемитизма готова»¹⁵⁰.

Об опасности разжигания антисемитских настроений в огромной многонациональной стране писал Максим Горький в своих знаменитых «Несвоевременных мыслях», взывая к совести и здравому смыслу русского народа. – см. [УРАЛЬСКИЙ М. (III)].

Высказывания же Алданова такого рода эмоциональной нагрузки полностью лишены. Бросается в глаза, что и в эмиграции Алданов, как в публицистике, так и в исторической художественной прозе, упорно обходил молчанием тему «еврейский вопрос и Русская революция», остро звучавшую в дискурсах русского Зарубежья. В предвоенные годы не только русские монархисты и теоретики-антисемиты возлагали на евреев главную ответственность за революцию и гибель «Великой России», но и правоконсервативные европейские мыслители придерживались этой же точки зрения. Одним из важных тезисов гитлеровской риторики являлось обвинение всех евреев в большевизме и злонамеренном уничтожении русской самобытности.

Алданов же в своей публицистике эту тему в целом игнорировал (sic!).

По своему характеру «Армагеддон» – это книга коротких очерков, в которых автор, описывая наиболее злободневные события первых революционных лет, дает им историософскую оценку:

«Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку при них? По трое суток кликал

¹⁴⁹ Имеется в виду выдвигавшиеся против евреев по ходу процесса Бейлиса («Дело Бейлиса») обвинения в принесении кровавых жертв («Кровавый навет»). – см. [КАЦИС].

¹⁵⁰ Будницкий О.В. В чужом пиру похмелье (Евреи и русская революция), цитируется по: URL: <http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Evr3Stat.htm>.

он клич – никто не являлся. Приходит Борма-ярыжка и берется исполнить царское желание. После тридцатилетних скитаний он, наконец, возвращается к московскому государю, приносит ему Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку и в награду просит у царя Ивана только одного: «дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках».

Владимир Соловьев видит в этой легенде «не лишенное знаменательности заключение для обратного процесса народного сознания в сторону диких языческих идеалов»... – Какие уж тут идеалы? А если идеалы, то почему «языческие»? Римский сенат, бесспорно языческий и по язычески встретивший известие о битве при Каннах, ничего ни в каком отношении не теряет по сравнению с самобытным Советом Рабочих и Солдатских депутатов, который так дружно аплодировал сообщению о Брестском договоре. Не теряет и с точки зрения мысли, заложенной в легенду о Борма-ярыжке.

Что касается самой легенды, то она не только «не лишена знаменательности», как говорил Соловьев, но исполнена грозного смысла, раскрывшегося во всей полноте лишь в настоящие дни.

<...>

<Став владыкой>, Бормаярыжка, осуществляя давнишнюю мечту, немедленно отправился в кабак, бросив на произвол судьбы и корону, и скипетр, и рук державу, и книжку. В особенности книжку.

Бросается в глаза, что и в этом «очерке» Алданов не забывает сделать акцент на том, что подобного рода эксцессы простолудинов, отнюдь не «русская черта»:

Все это было предсказано в философских драмах Ренана.

И что:

По-видимому, политический нигилизм проявляется либо на крайних низах культуры, либо на ее недостижимых вершинах¹⁵¹.

Как человек, симпатизировавший борьбе революционной интеллигенции с русским царизмом¹⁵², Алданов так же подчеркивает, что

в числе деятелей русского революционного движения были люди и немолодые, и не жестокосердные; были даже (хоть в очень небольшом числе) люди, знающие наш народ. Но другого пути перед ними не было. Они шли за колесницей Джагернатха или бросались под ее колеса.

<...>

Говорят, русский человек задним умом крепок. Это было бы еще не так плохо, если б было верно: все-таки некоторая гарантия для будущего. Но, кажется, поговорка преувеличивает: особых проявлений заднего ума у нас пока незаметно.

<...>

Современный пролетариат по-своему культурному уровню неизмеримо ниже буржуазии, а задачу себе он ставит неизмеримо труднее: смешно даже сопоставлять ничтожные, казалось, препятствия, стоявшие на пути «Декларации прав человека», с той безграничной хозяйственной и

¹⁵¹ В первую очередь здесь подразумевается Лев Толстой.

¹⁵² На закате жизни в письме к писателю-эмигранту Г. Гребенщикову от 3 июня 1949 года Алданов заявлял: Я ненавижу практику большинства революций, но идеям 1917 года или 1789 года сочувствую и всегда сочувствовал [ЧЕРНЫШЕВ А. (VI). С.132].

психологической инерцией, на которую неизбежно наткнется в переживаемое нами время попытка осуществления <Декларации прав трудящихся>.

<...>

Весьма нелегко определить, по какому логическому принципу делятся стороны в нынешней «классовой борьбе»: большевики сражаются с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. Очевидно, люди воюют с кем попало – по соображениям географического удобства.

Классовая борьба у нас, вдобавок, осложняется некоторой застенчивостью. Так, вожди русской буржуазии до сих пор стыдятся своего ремесла. У нас самое что ни есть подлинное купечество почему-то занималось мимикрией под «внеклассовую интеллигенцию». С другой стороны, добрая часть русской внеклассовой интеллигенции живет такой мимикрией под рабочий пролетариат.

Уже в «Армагеддоне» Алданов, с тонкой иронией, а порой и сарказмом, высказывает, опираясь на классических писателей, свое скептическое недоверие к пророчествам, ставшее одним из лейтмотивов его последующей философской прозы: «Сколько пророчеств, и хоть бы одно сбылось»:

Тютчев <...> «предсказывал» (в апреле 1848 г.): «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы – Революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».

К этому предсказанию Иванов-Разумник <...> добавляет следующее послесловие:

«Да, подлинно величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева. *Одно только*: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда – Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь – старая Европа стоит на той же страже против революционной России».

Это «одно только» несколько неожиданно. Поэт предсказал «одно только», – в действительности случилось нечто противоположное. Но комментатор всё же видит здесь величайшую углубленность и вдохновенное прозрение. Поистине поэты без риска могут предсказывать что угодно.

Среди глашатаев и пророков разразившейся трагедии, конечно же, на первом месте у Алданова выступают Достоевский и Лев Толстой.

«Мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от спокойствия своих пролетариев, подкупаемого ею уже последними усилиями домашних правительств и всего лишь на час».

Кто это говорит? Ленин? Троцкий? Нет, так писал в апреле 1877 г. Ф.М. Достоевский («Дневник писателя»). <...> Книга, откуда взята эта цитата, вся состоит из политических предсказаний, из которых не сбылось *ни одно*.

Биржи ли европейской буржуазии, или спокойствие европейских пролетариев, или, может, что другое, – однако Европа еще *держится*. <...>

> ... тогда как Великая Россия уже полгода во власти «Бесов»¹⁵³. В минуты мрачного вдохновения зародилась эта книга в злобном уме Достоевского.

Этот человек, не имевший ни малейшего представления о политике, был в своей области, в области «достоевщины», подлинный русский пророк, провидец безмерных глубины и силы и необычайный. Октябрьская революция без него непонятна; но без проекции на нынешние события непонятен до конца и он, черный бриллиант русской литературы.

Схема русского революционного движения, взятого в многолетней перспективе, поражает быстрым падением вдохновения... Точно опера. «Паяцы»... Прекрасен драматический пролог. Есть сильные места в первом действии. Вульгарно и ничтожно второе. Коломбина зарезана. Негодяй Тонио торжествует. Скоро послышится: *la comedia finita*¹⁵⁴

Достоевский лучше всего предвидел второе действие. Деятели пролога он ненавидел, их идей не понимал; об этом свидетельствует самый эпиграф «Бесов»: много, очень много свиней пришлось бы утопить в озере для того, чтобы очистить русскую землю от грехов, – в первую очередь от преступлений самодержавия.

Первое действие, более или менее свободное от подлинной достоевщины, не отпиралось и мистическим ключом. Где в нем Ставрогины, Шатовы, где сказка о царевиче Иване, где полужемная мистика Кириллова¹⁵⁵? Достоевский отдал поклон катафалку, на котором не было покойника...

<...>

Царь отстаивал самодержавие, солдаты стремились к заключению мира, крестьяне хотели получить землю, помещики не желали ее отдавать, рабочие требовали огромной платы, капиталисты отказывались платить, – какой уж тут мистицизм?

Верно был намечен культ пустословия, верно предвосхищение в гениальной карикатуре вечеринки у акушерки Виргинской.

Были, однако, в первом акте и моменты торжества духа над телом; в частности, и над языком.

Зато второе действие – апофеоз пророческого дара Достоевского. Верховенский и Щигалев, Свидригайлов и Карамазов, Смердяков и Федька-касторжник овладевали русской землей. Движущие силы Октябрьского переворота слагались из животных инстинктов и самой черной достоевщины.

Была также, вероятно, крошечная примесь идеализма.

<...>

Задолго до войны и революции великий наш мудрец утверждал, что русский народ глубоко равнодушен к братьям славянам и к Константинополю.

<...> Тот же бесконечно умный Толстой писал, что русский народ совершенно равнодушен к царю. Эти пророческие слова в свое время казались еще более далекими от жизни. Теперь нам временно приходится вспомнить третье утверждение Толстого: он говорил, что патриотизм есть чувства совершенно незнакомые подавляющему большинству русского народа... Этот человек был

¹⁵³ «Бесы» – шестой по счету (1871–1872 гг.) и один из наиболее политизированных романов Федора Достоевского, был написан им под впечатлением от появления террористического и радикального движений в среде русских интеллигентов. Непосредственным прообразом сюжета романа стало вызвавшее большой резонанс в обществе убийство студента Ивана Иванова, совершённое в 1869 г. революционным кружком «Народная расправа» под руководством С. Г. Нечаева.

¹⁵⁴ *la comedia finita* (фр.) – комедия окончена.

¹⁵⁵ Основные протагонисты политического толка в книге «Бесы»: Верховенский, Шатов, Ставрогин и Кириллов.

точно лишён способности ошибаться, когда говорил о том, что есть (а не о том, что быть должно).

Размышляя на тему возможности прогнозирования исторических событий, Алданов, приводя целый набор интересных в историческом отношении цитат, старается всячески уязвить марксизм с его претензией на научное прогнозирование социальных процессов:

Нет ничего легче чем предсказывать то, что было. Пророков, предсказывающих то, что будет, гораздо меньше, и они часто бывают не слишком ясны. Но в истории мирового шарлатанства и роль Пифии не принадлежит к числу самых лёгких.

<...>

В старых книгах порой встречаешь страницы редкого проникновения и удивляющей глубины. Но фантазий, но ошибок всё же неизмеримо больше.

Особенно много иллюзий порождала категория времени: ошибались не на года и даже не на столетия, – иногда на десятке столетий.

Мечта о земном Рае покрыта пылью веков. Первым социалистом был, вероятно, Адам...

Нынешний строй не вечен, – это совершенно несомненно. В строе, который придет ему на смену, будут преобладать формы коллективного владения, – это весьма вероятно. Новый строй принесет людям больше материального благосостояния, – это вполне возможно. Но как он наступит и через сколько времени, – вот вопрос, многочисленные ответы на который представляют одну из интереснейших страниц в истории человеческого незнания.

<...>

Вера есть вера, даже тогда, когда она называет себя наукой.

Карл Маркс, творец научного социализма, всю жизнь был убежден в крайней близости коммунистического строя и ровно 70 лет тому назад писал: «буржуазная революция может быть только непосредственной прелюдией Революции Пролетарской».

<...>

Фридрих Энгельс <...> приурочивал социалистический переворот <в России> к 1898 г.

Равным образом Август Бебель не раз высказывал надежду дожить до будущего строя – и, был наказан судьбой, пославший ему исключительно долгую жизнь.

Наконец, по мнению Жореса, который, впрочем, не принадлежал к чистым марксистам, социальная революция должна была произойти между 1907 и 1917 годами.

Марксисты знают, что время работает неизменно для них и не может работать против них. Совершенно так же знали это социалисты первых времен христианства...<...>

Исторический прогноз (не отдельный и случайный) невозможен. Здесь вечное – *ignorabimus*¹⁵⁶.

Анализируя на фоне разразившейся русской революции все предыдущие революционные взрывы, проводя многочисленные исторические параллели, Алданов в «Армагеддоне» старается доказать, что они не обусловлены совокупностью социально-экономических причин, как

¹⁵⁶ Ignorabimus (лат.) – Мы этого никогда не узнаем.

декларирует марксизм, и не predetermined, – другими словами, не являются неизбежными. В его историософской концепции революций на первый план выдвигается «слепой случай», возносящий, как правило (sic!), на вершины власти недостойных и сводящий на нет любые попытки прогнозирования событий. Опираясь на мысль Пушкина, которая, по его мнению, «в своей сжатости гениальна», Алданов утверждает, что:

Революция, которую *замышляют, невозможна*. К тем, кто хочет подчинить ее логическому руководству, она беспощадна. Переворот должен обратиться в бунт.

В концептуальном представлении Алданова исторического процесса в целом главный тезис – это то, что:

Удачных революций не бывает. Революция по природе своей не может творить. Она лишь создает такие условия, при которых будущее государственное творчество становится возможным и – главное – неизбежным, как бы ни кончилась сама революция¹⁵⁷.

<...>

За исключением дворцовых и династических переворотов, все революции неудачны, – если их рассматривать вне надлежащей *перспективы*. <...> Великая Французская революция <...> в перспективе одного двадцатипятилетия – тяжёлый нелепый кошмар. Такова в аналогичной перспективе Великая Английская революция...

Тем не менее всегда что-то остается. Вопрос оправдания революции в цене, которой куплено – это «что-то». Да ещё в невещественных ценностях – в остающейся *легенде*...

<...>

Демократической идее, однако, придется пережить нелегкое время: она, по-видимому, пришла в некоторое противоречие сама с собой. Опыт нам показал, что ничто так ни чуждо массам, как уважение к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе. Иллюзий у нас больше нет. Мы массами руководить не можем. Но если массы будут руководить нами? Если державная воля народа потребует от нас отречения от азбучных начал либерализма?

Интеллигенция воссоздавала народ из глубин собственного духа <...>. Мы сеяли «разумное, доброе, вечное». <...> Но толпа сказала нам не «спасибо сердечное», а нечто совершенно другое...¹⁵⁸

Уйти от народа все же некуда: в XX веке нет ни аскетических схимников, ни комфортабельных келий. Жить с массами в долине нам так или иначе придется: на Монблане «гордого одиночества» коротать дни неудобно, да и скучно.

<...>

В лучшем случае легендой русской революции будет то, что вожди ее первого периода, имея полную возможность сохранить свою власть и спасти от хаоса Россию ценой измены союзу и собственного бесчестья, на этот путь

¹⁵⁷ В статье «Из записной книжки 1918 года» имеется такой вот афоризм Марка Алданова: «У революций есть своя историческая традиция. Она заключается в том, чтобы не считаться с историческими традициями».

¹⁵⁸ В статье «Из записной книжки 1918 года» Алданов писал, вспоминая о зверском убийстве «как буржуев» и представителей «партии врагов народа» революционными матросами двух членов ЦК партии кадетов Ф.Ф. Коккошкина и А.И. Шингарева (7 января 1918 года) – выдающихся общественных деятелей с незапятнанной репутацией: Я не забуду окровавленных тел Коккошкина и Шингарева в мрачной часовой больницы. Буду вечно помнить и мучительные их похороны, глухую враждебность многотысячной петербургской толпы...

всё же не стали¹⁵⁹. Некоторые из них ясно предчувствовали и предпочитали гибель...

На трудном пути Революции одни заблуждались меньше, другие больше. Одни могут говорить *mea culpa*¹⁶⁰, другие – *mea maxima culpa*. Но и без тысячи ошибок над всеми неумолимо висел и висит рок Великой войны.

В конце книги Алданов по существу предрекает Гражданскую войну и сценарий Великой Французской революции:

Перед нами премьера и, вероятно, не последнее представление... А, казалось бы, после того, что было и будет, над этим драматическим жанром много прежних ценителей должны б поставить крест с могильной надписью: «Род. в 1793 г. в Париже, сконч. в 1918 г. в Петербурге».

Историософский пафос Алданова-публициста утверждает непредсказуемость направлений исторических процессов. Не веря в достоверность долгосрочных политических прогнозов, он в «Армагеддоне», тем не менее, предсказывает, что: «Ленин будет, вероятно, признан гениальным человеком». Через несколько лет Ленин, действительно, был признан гением всех времен и народов, мумифицирован и воспет поэтами на сотнях различных языков. Сбылось, к несчастью, и другое алдановское предвидение, связанное с влиянием «оптимистической трагедии», разыгравшейся в России, на западный мир. В «Армагеддоне» он писал:

последствием социальных потрясений в Европе будет, скорее всего, почти такой же грабеж награбленного, почти такое же моральное и умственное одичание.

Так оно, увы, и случилось. Через двадцать лет весь мир был охвачен пламенем еще более страшного и разрушительного, чем Первая мировая война, международного военного противоборства, а затем долгие годы восстанавливался от последствий тотальных зверств и сопутствующего им нравственного одичания. Россия, сыграв вместе с другими европейскими странами в этом социальном катаклизме заглавную роль, доказала тем самым столь важный для Алданова тезис, что русские – такие же европейцы и столь же активно влияют на европейскую историю, как и все остальные народы. Ну, а в 1918 г, анализируя в «Армагеддоне» актуальный политический момент Русской революции, Алданов констатирует:

Хуже всего, что отныне ничего больше нельзя валить на «русскую жизнь» и никого не будет впредь заедать среда, та среда, которая заела половину героев нашей литературы. Не проходит бесследно вековая школа деспотизма и грубости. Русский человек, грозящий своей кухарке рассчитать ее «в 24 часа», ныне гражданин «самой свободной страны в мире». Здесь Року не приходится ничего и отнимать: политическая революция у нас произошла, социальная, по видимому, производится, но психологическая, наверное, будет не скоро.

Оставляет финал своей книги открытым и концептуально разомкнутым – такого рода «недосказанность» как художественный прием будет впоследствии использоваться им и в исторической беллетристике – Алданов пишет:

Будущее темно. Куда влачит нас колесница Джагернатха?.. ...какая участь постигнет высшие ценности европейской цивилизации, сказать трудно:

¹⁵⁹ Другими словами, в отличие от большевиков либеральные демократы в лице Временного правительства не решились пойти на сепаратный мир с немцами, чего требовали предельно уставшие от бессмысленной, с точки зрения большинства русского народа, войны массы.

¹⁶⁰ *mea culpa, mea maxima culpa* (лат). – моя вина, моя большая вина.

Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит.

В заключении этого раздела отметим так же, что все описания Алдановым октябрьских событий, при их несомненной фактографической достоверности, являются в первую очередь художественно-публицистическими произведениями¹⁶¹. Их причинно-следственная интерпретация у Алданова с позиции разграничения эмпирического осмысленного знания (документ) и метафизического, неосмысленного (концепт) представляется достаточно субъективной. Особенно это касается оценки личностей вождей Русской революции – как общей, так и персональной. Все они, как правило, характеризуются уничижительно – и в моральном отношении, и в образовательно-культурном плане, что с фактической точки зрения совершенно неверно. Единственным исключением здесь у Алданова являются фигуры Ленина.

Русская революция станет одной из основных тем многочисленных алдановских исторических романов, рассказов и очерков. В них писатель скрупулезно воссоздает образы людей пред- и революционной эпохи, отдельные «знаковые» характеры, события, интерьеры. Вся эмигрантская проза Алданова – это по сути своей историсофская хроника двух Великих европейских революций – Французской и Русской, в их зеркальном отражении. Еще более фундаментальной и подробной она становится при добавлении к ней серии алдановских литературных портретов великих деятелей этих великих эпох.

Если же у читателя возникнет желание несколько снизить «пафос видения», то здесь стоит обратиться к другому знаменитому писателю эмиграции, доброму знакомому Марка Алданова, поэту-сатирику Дон-Аминадо. Этот литератор, ничтоже сумняшеся, изложил все «громადье» темы «От Февральской революции до Советской России» в лапидарной лирико-метафорической форме:

В Феврале был пролог. В Октябре – эпилог. Представление кончилось. Представление начинается. В учебнике истории появятся имена, наименования, которых не вычеркнешь пером, не вырубешь топором.

Горсть псевдонимов, сто восемьдесят миллионов анонимов.
Горсть будет управлять, анонимы – безмолвствовать.
Свет с Востока. Из Смольного – на весь мир!
Космос остаётся, космография меняется, меридианы короче.
От Института для благородных девиц до крепости Брест-Литовска
рукой подать.
Несогласных – к стенке:
Прапорщиков – из пулемёта, штатских – в затылок.
Патронов не жалеть, холостых залпов не давать. <...>.
Всё повторяется, но масштаб другой.
В Петербурге – Гороховая, в Москве—Лубянка¹⁶².
Мельницы богов мелют поздно.
Но перемол будет большой, и надолго.
На годы, на десятилетия.

¹⁶¹ Читателям, серьезно интересующимся данным вопросом, можно порекомендовать солидный в научном отношении труд известного американского историка и политолога Александра Рабиновича «Революция 1917 года в Петрограде: Большевики приходят к власти», в котором имеется также обширная библиография, см. [РАБИНОВИЧ А.]

¹⁶² В домах № 2 на петроградской Гороховой улице и московской Лубянке с 1918 г. находилась Всероссийская чрезвычайная комиссия Совета народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Французская шпаргалка – неучам и пригостишкам, русская
Вандея¹⁶³ – для взрослых и возмужалых.

Корнилов, Деникин, Врангель, Колчак – всё будет преодолено,
расстреляно, залито кровью.

Рыть поглубже, хоронить гуртом.

Социальная революция в перчатках не нуждается.

На Западе ужаснутся. Потом протрут глаза.

Потом махнут рукой, и станут разговаривать.

– О марганце, о нефти, о рудниках, о залежах.

Из Америки приедет Абель Арриман¹⁶⁴. За ним другие.

Сначала купцы, потом интуристы.

<...>

Икра направо, икра налево, рябиновая посередине.

Сначала афоризмы, потом парадоксы, потом восхищение:

– Родильные приюты для туркменов, грамматика для камчадалов,
«Лебединое озеро» для всех!.. [Д. АМИНАДО].

¹⁶³ Вандея – здесь намек на контрреволюционное восстание на западно-французской провинции Вандея в годы Французской революции.

¹⁶⁴ Имеется в виду Уильям Аверелл Гарриман.

Глава 5. Одесса: начало русского рассеяния (1919 г.)

*Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.*

Осип Мандельштам

После завершения поездки посольства «Союза возрождения России» по странам Антанты Алданов возвращается на родину и зимой 1919 г. поселяется в Одессе. Те несколько месяцев, что Алданов провел в этом городе до момента своего бегства из России, не оставили следа в его эпистолярном и художественном наследии. Однако в биографии Алданова они выступают моментом ярким и даже судьбоносным. Именно в Одессе и завязался тот плотный узел литературных и человеческих связей, которые определили последующую жизнь Алданова в эмиграции. Здесь он познакомился, а затем близко сошелся с первыми именами русской литературной сцены – Иваном Буниным, Дон-Аминадо, Алексеем Толстым, Тэффи, а так же литераторами и интеллектуалами, впоследствии игравшими видную роль в культурной жизни русской эмиграции «первой волны» – Михаилом и Марьей Цетлиным, четой Фондаминских, Лоло, Марком Вишняком и многими другими.

Красавица Одесса, в 1910-е гг. слывшая третьей культурной столицей России, после Октябрьского переворота и начала Гражданской войны переходила из рук в руки. Тем не менее, уже с конца 1917 г. в этот щедрый солнцем и гостеприимный портовый причерноморский город, как в последнее убежище, начали прибывать писатели, бежавшие из Петербурга, Москвы и других городов. Алексей Толстой, Наталья Крандиевская, Максимилиан Волошин, Бунин, Алданов – в Одессе собрался цвет русской литературы [БИСК].

Одесский поэт Александр Биск, написавший эти строки в своих эмигрантских воспоминаниях, причислил к «цвету русской литературы» Марка Алданова, так сказать, опосредованно, поскольку тот в те годы еще только заступал на писательскую стезю, и его имя в литературном мире было мало кому известно.

Свидетельства о <...> восприятии Одессы тех лет как своего рода последнего убежища и источника относительной стабильности <...> весьма многочисленны; среди <них>, – факт пребывания в городе Волошина, что прямо отражено в небольшом волошинском письме в редакцию газеты «Одесский листок» (1919. № 57. 3 марта. С. 2):

Я приехал в Одессу, как в последнее сосредоточие русской культуры и умственной жизни [БИСК].

Как видно из нижеприводимой литературной «хроники событий», а так же дневников Буниных – «Устами Буниных», где в разделе «Одесса» (Т. I) достаточно подробно зафиксировано то, что происходило в городе с середины 1918 по конец января 1920 гг., назвать Одессу островком «относительной стабильности» можно лишь в некоем сравнительном плане, да и то с большой натяжкой. Однако для тех, кто не желал жить в условиях «диктатуры пролетариата», Одесса была явно предпочтительней обеих российских столиц, – хотя бы уже потому, что из нее можно было морем бежать на Запад..

В середине января 1918 г. в городе была провозглашена большевистская Одесская Советская республика, но уже 13 марта она прекратила существование в связи с оккупацией Одессы австро-германскими войсками, которая продолжалась до конца 1918 г.

Со 2 декабря 1918 года по 5 апреля 1919 года городом управляли представители войск стран Антанты, посланных французским премьер-министром Клемансо для борьбы с большевиками. Дон-Аминадо в образно-поэтической форме описал атмосферу, царившую в «оккупированной» Антантой Одессе:

На рейде – «Эрнест Ренан».
В прошлом философ, в настоящем броненосец¹⁶⁵.
Международный десант ведет жизнь веселую и сухопутную.
Марокканские стрелки, сенегальские негры, французские зуавы
на рыжих кобылах, оливковые греки, итальянские моряки – проси,
чего душа хочет!
Каждый развлекается, как может.
Большевики в ста верстах от города.
Блаженно-верующим и того довольно.
А что думает генерал Деникин, никто не знает.
Столичные печенег прибывают пачками.
Обходят барьеры, рогатки, волчьи ямы, проволочные
заграждения, берут препятствия, лезут напролом, идут, прут,
валом валят.
Музыка играет, штандарт скачет, всё как было, всё на месте.
Фонтаны, Лиманы, тенора, грузчики, ночные грабежи <...>.
Вместо ненавистного Бупа – Буп это бюро украинской печати, –
добровольческий Осваг¹⁶⁶.
Газет, как грибов после дождя.
В «Одесском листке»¹⁶⁷ Сергей Федорович Штерн.

В «Современном слове» Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский, Борис Мирский (в миру Миркин-Гецевич), П.А. Нилус, А.М. Федоров, Вас. Регинин, бывший редактор петербургского «Аргуса», Алексей Толстой, он же и старшина игорного клуба; А.А. Койранский на ролях гастролера, Леонид Гросман, великий специалист по Бальзаку и по Достоевскому; молодой поэт Дитрихштейн, еще более молодой и тоже поэт Эдуард Багрицкий; Я.Б. Полонский, живой, способный, пронзительный, – в шинели вольноопределяющегося¹⁶⁸; Д. Аминадо, тогда еще Дон, и, в торжественных случаях, почетный академик, Иван Алексеевич Бунин.

«Одесскую почту» издает Некто в сером, по фамилии Финкель¹⁶⁹.

Газета бульварная, но во всем мире имеет собственных корреспондентов!..

Корреспонденты с Молдаванки не выезжают, но расстоянием не стесняются, и перышки у них бойкие.

¹⁶⁵ Французский корабль экспедиционного корпуса стран Антанты.

¹⁶⁶ ОСВАГ – (Осведомительное Агентство), информационно (осведомительно)-пропагандистский орган Добровольческой армии, а в дальнейшем – Вооруженных сил Юга России во время Гражданской войны.

¹⁶⁷ «Одесский листок» – популярная научно-политическая и литературно-общественная газета либерального направления, издавалась с 1880 по 1920 гг.

¹⁶⁸ Яков Полонский – будущий зять Алданова, воевал и был награжден Георгиевским крестом.

¹⁶⁹ «Одесская почта» – популярная ежедневная газета, издававшаяся в 1917–1918 гг. Абрамом Моисеевичем Финкелем (даты жизни не известны), добрым знакомым Бабеля, впоследствии эмигрантом, окончившим свои дни во Франции, см. Нюренберг А. Встречи с Бабелем: URL: <http://bibliotekar.ru/rus-Babel/14.htm>

«Почта» живет сенсациями, опровержениями, сведениями из достоверных источников.

Улица довольна, недовольны только пайщики, которых, как говорят, Финкель беззастенчиво грабит.

Вероятно, поэтому газетные мальчишки и орут во весь голос:

– Требуйте свежий номер «Ограбленной почты»...

Кроме того, есть «Призыв»¹⁷⁰, который издает Ал. Ксюнин, раскаявшийся новременец.

Н. Н. Брешко-Брешковский в газетах не участвует, ходит вприпрыжку, и самотеком пишет очередной роман под скромным названием «Царские бриллианты».

Театры переполнены, драма, опера, оперетка, всяческих кабаре хоть пруд пруди, а во главе опять «Летучая мышь» с неутомимым Никитой Балиевым.

Сытно, весело, благополучно, пампушки, пончики, булочки, большевики через две недели кончатся, «и на обломках самовластья напишут наши имена»...

Несогласных просят выйти вон.

Пейзаж, однако, быстро меняется.

Небо хмурится, сто верст, в которые уверовали блаженные, превращаются в шестьдесят, потом в сорок, потом в двадцать пять.

<...>

Ни направо не пойдешь, ни налево не пойдешь, впереди – море.

Хоть садись на мраморные ступени, убегающие вниз, размышляй и думай:

– Ведь вот, сколько раз измывались над Горьким, сколько раз шпыняли его за олеографию, за «Мальву».

Никак не могли ему простить первородного греха, неуклюжей, стопудовой безвкусицы.

А ведь вышло по Горькому:

– Море смеялось [Д. АМИНАДО].

Вечером 2 апреля 1919 года была официально объявлена эвакуация морем из Одессы воинских контингентов, вооружений, боеприпасов и другого материального имущества войск Антанты, местной администрации и гражданского населения, не пожелавшего оставаться на территориях, занимаемых войсками победоносно продвигавшейся Красной армии. Эвакуацию должна была произойти в «48 часов». Существует мнение [САВЧ-БУТОН], [МАЛАХОВ], что для такой молниеносной эвакуации не было никаких причин. Хотя детали и механизм принятия решения историкам до сих пор не известны, однако несомненно, что эвакуация произошла из-за политического решения французского правительства свернуть военную интервенцию в России. Апрельскую ситуацию в Одессе наглядно иллюстрируют записи в дневнике Веры Николаевны Муромцевой-Буниной:

23 марта / 5 апреля 1919 г.

...я пошла в продовольственную управу. <...> Я спрашиваю совета: уезжать ли нам? Они уговаривают остаться, ибо жизнь потечет нормально. Я не спорю. Но я знаю, что под большевиками нам придется морально очень страдать, жутко и за Яна, так как только что появилась его статья в «Новом Слове», где он открыто заявил себя сторонником Добровольческой Армии. Но

¹⁷⁰ «Призыв» – печатный орган Клуба социалистов-оборонцев.

куда бежать? На Дон? Страшно – там тиф! За границу – и денег нет, да и тяжело оторваться от России.

Захожу в то отделение управы, где служит дальняя родственница Яна, княгиня Голицына. <...> Она очень возбуждена, говорит, что им нужно бежать. <...>

Я позвонила Цетлиным. Они уезжают, звали и нас. Мы пошли проститься. У них полный разгром. Им назначили грузиться на пароход через 2 часа. Фондаминский хорош с французским командованием, он устраивает им паспорта.<...>

Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорта устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей.

24 марта / 6 апреля 1919 г.

Вошли первые большевицкие войска под предводительством атамана Григорьева, всего полторы тысячи солдат! Вот та сила, от которой бежали французы, греки и прочие войска. Одесса – большевицкий город. Суда еще на рейде [УСТ-БУН. Т. 1. С. 228].

После ухода войск Антанты и их союзников числом до двадцати пяти тысяч бойцов Одесса, город с 600-тысячным населением, была занята иррегулярными, т.е. по существу бан- дитскими формированиями атамана Григорьева, входившими тогда в состав 6-й Украинской советской дивизии. Как свидетельствует Дон-Аминадо:

Смена власти произошла чрезвычайно просто.
Одни смылись, другие ворвались.
Впереди, верхом на лошади, ехал Мишка-Япончик, начальник штаба.
Незабываемую картину эту усердно воспел Эдуард Багрицкий:

Он долину озирает
Командирским взглядом.
Жеребец под ним играет
Белым рафинадом.

Прибавить к этому уже было нечего.

За жеребцом, в открытой свадебной карете, мягко покачиваясь на поблекших от времени атласных подушках, следовал атаман Григорьев.

За атаманом шли победоносные войска.

Оркестр играл сначала «Интернационал», но по мере возраставшего народного энтузиазма, быстро перешел на «Польку-птичку», и, не уставая, дул во весь дух в свои тромбоны и валторны.

Мишка-Япончик круто повернул коня и гаркнул, как гаркают все освободители.

Дисциплина была железная. Ни выстрела, ни вздоха.

Только слышно было, как дезертир-фельдфебель со зверским умилением повторял:

– Дай ножку. Ножку дай!

И ел глазами взвод за взводом, отбивая в такт:

– Ать, два. Ать, два. Ать... два...¹⁷¹

Жизнь сразу вошла в колею.

Колея была шириной в братскую могилу. Глубиной тоже¹⁷². Товарищ Северный¹⁷³, бледнолицый брюнет с горящими глазами, старался не за страх, а за совесть.

Расстреливали пачками, укладывали штабелями, засыпали землей, утрамбовывали.

Наутро всё начиналось снова.

Шарили, обыскивали, предъявляли ордер с печатями, за подписью атамана, как принято во всех цивилизованных странах, где есть *Nabeas Corporis*¹⁷⁴ и прочие завоевания революций.

Атаман был человек просвещенный, но безграмотный, и ордера подписывал кратко, тремя буквами: – Гри.

На большее его не хватало.

Да и время, надо сказать, было горячее, и все отлично понимали, что для уничтожения гидры трех букв тоже достаточно.

Всё остальное было повторением пройденного и шло по заведенному порядку.

В городском продовольственном комитете, который ввиду отсутствия времени, переименовали в Горпродком, что было гораздо короче и понятнее, выдавали карточки, по которым выдавали сушеную тарань, а для привилегированных классов населения, то есть для беззаветных сподвижников Мишки-Япончика, еще и длинные отрезки плюшевых драпировок из городской оперы.

– Хоть раз в жизни, но красиво! – как великолепно выразалась Гедда Габлер¹⁷⁵.

Стрелки на часах Городской думы были передвинуты на несколько часов назад, и когда по упрямому солнцу был полдень, стрелки показывали восемь вечера.

С циферблатами не спорят, с атаманами тем более.

На рейде, против Николаевского бульвара, вырисовывался всё тот же безмолвный силуэт «Эрнеста Ренана», на который смотрели с надеждой и страхом, но всегда тайком.

¹⁷¹ Этот эпизод носит чисто литературный характер, т.к. легендарный одесский бандит Мишка-Япончик к армии атамана Григорьева никакого отношения не имел.

¹⁷² Здесь речь идет о т.н. «Красном терроре», который как государственная система мер борьбы с контрреволюцией, был объявлен большевиками на Украине в начале июля 1919 года. В Одессе массовый террор проводился всё время пребывания большевиков у власти, но особенно террор усиливался в периоды, когда из-за угрозы существованию большевистской власти в Одессе, власть от местных советов передавалась ревкомом – а именно: с 4 июля по 23 августа в 1919 году, 8 февраля – 9 апреля и с 13 июня 1920 года по 17 февраля 1921 года.

¹⁷³ Северный (Юзефович) Борис – руководитель Одесского ЧК, один из главных организаторов «Красного террора» в городе.

¹⁷⁴ Здесь в смысле конституционная гарантия против произвольного ареста.

¹⁷⁵ Гедда Габлер – главная героиня одноименной пьесы Генрика Ибсена, с большим успехом шедшей на русской театральной сцене начала XX в.

Проходили дни, недели, месяцы, из Москвы сообщали, что Ильич выздоровел и рана зарубцевалась.

Всё это было чрезвычайно утешительно, но в главном штабе Григорьева выражение лиц становилось всё более и более нахмуренным.

История повторялась с математической точностью.

– Добровольческая армия в ста верстах от города, потом в сорока, потом в двадцати пяти.

Слышны были залпы орудий.

Созидатели новой эры отправились на фронт в плюшевых шароварах, и больше не вернулись¹⁷⁶.

За боевым отрядом потянулись регулярные войска, и грабили награбленное.

Созерцатели «Ренана» нагтели с каждым часом, и являлись на бульвар с биноклями.

Тарань поддерживала силы, бинокли укрепляли дух [Д. АМИНАДО].

А вот живописные воспоминания писателя-эмигранта Перикла Ставрова о жизни города после очередного его захвата большевиками:

Все пошло обычным путем... Аресты, обыски, расстрелы, вместо электричества – лампадное масло, вместо жалования – фитильки от лампадок... Был и голод. Одно утешение, не такой, например, как на севере. Покойный К. В. Мочульский тогда из Петрограда приехал и все удивлялся, что мы еще иногда едим селедку с картошкой. «У нас, – рассказывал, – только шелуха картофельная и селедочные головки». Мы тогда еще наивными были и было нам невдомек: если населению шелуха и головки, то кто же, собственно, самый картофель и селедку ел? Потом только, много позже, мы эту механику поняли [СТАВРОВ. С. 259].

23 августа 1919 года под натиском армии генерала Деникина большевики в очередной раз оставили Одессу.

Ранним осенним утром в город вошли первые эшелоны белой армии.

Обращение к населению было подписано генералом Шварцем.

* * *

Недорезанные и нерасстрелянные стали вылезать из нор и щелей.

Появились арбузы и дыни, свежая скумбрия, Осваг.

Ксюнин возобновил «Призыв».

Открылись шлюзы, плотины, меняльные конторы.

В огромном зале Биржи пела Иза Кремер.

В другом зале пел Вергинский.

Поезда ходили не так уж чтоб очень далеко, но в порту уже грузили зерно, и пришли пароходы из Варны, из Константинополя, из Марселя.

¹⁷⁶ Мишка Япончик сформировал из одесских уголовников, боевиков-анархистов и мобилизованных студентов военный отряд, позднее преобразованный в 54-й советский революционный полк имени Ленина, подчинённый бригаде Котовского, который в июле 1919 г. был направлен против войск Петлюры. Перед отправкой в Одессе был устроен пышный банкет, на котором командиру полка Мишке Япончику были торжественно вручены серебряная сабля и красное знамя. Начать отправку удалось только на четвёртый день после банкета, причём в обоз полка были погружены бочонки с пивом, вино, хрусталь и икра. На фронте полк был разгромлен, а сам Япончик убит во время столкновения его «бойцов», желавших вернуться в Одессу, с отрядом Красной армии.

Мальчишки на улицах кричали во весь голос:

– Портрет Веры Холодной в гробу¹⁷⁷, вместо рубля двадцать копеек...

Было совершенно ясно, что <...> жизнь начинается не завтра, а, безусловно, сегодня, немедленно, и сейчас.

На основании чего образовали «группу литераторов и ученых» и, со стариком Овсяннико-Куликовским во главе, отправились к французскому консулу Готье.

Консул обожал Россию, прожил в ней четверть века, читал Тургенева, и очень гордился тем, что был лично знаком с Мельхиором де-Вогюэ.

Ходили к нему несколько раз, совещались, расспрашивали, тормозили, короче говоря, замучили милого человека окончательно.

В конце концов, на заграничных паспортах, которые с большой неохотой выдал полковник Ковтунович, начальник контрразведки, появилась волшебная печать, исполненная еще неосознанного, и только смутным предчувствием угаданного, смысла.

Печать была чёткая и бесспорная и, как говорится, *une clarté latine*¹⁷⁸. Но смысл ее был роковой и непоправимый.

Не уступить. Не сдать. Не стерпеть.

Свободным жить. Свободным умереть.

Ценой изгнания всё оплатить сполна.

И в поздний час понять, уразуметь:

Цена изгнания есть страшная цена [Д. АМИНАДО].

Общественно-политическую ситуацию, сопутствовавшую событиям этого периода, кратко, но емко охарактеризовал позднее А. И. Деникин, с 26 декабря 1918 по 17 апреля 1920 года – главнокомандующий Вооруженными силами Юга России:

...город волею судьбы стал третьим этапом российского именитого беженства. Цвет интеллигенции и политических партий, конспирировавший ранее в Москве и потом бурно крутившийся в водовороте киевских событий, волной революции выбросило на одесский берег... Город коммерческой и спекулянтской горячки стал новым центром политического ажиотажа, борьбы союзов, «бюро», советов, организаций, «правительств», делегаций... Одесса насыщена была до предела привнесенной ими политикой, в которой купно с искренними и патриотическими стремлениями переплелись темные побуждения политических маклеров, авантюристов и людей с болезненной жадной властью и влияния – какими угодно путями, какую угодно ценой [ДЕНИКИН].

«Феноменом Одессы» периода гражданской войны является то, что, несмотря на грабежи, погромы и ужасы «красного террора», в этом городе,

как ни парадоксально, бурно расцветает культурная жизнь <...>. Появляются бежавшие на юг от обысков, реквизиций и голода московские, петербургские, киевские журналисты и писатели. Количество газет и журналов, выходящих в Одессе, резко возрастает. Это связано как с появлением столичных гостей и активной деятельностью одесских журналистов, так и с частой сменой властей и непродолжительностью

¹⁷⁷ Знаменитая актриса умерла в Одессе от гриппа-«испанки» 16 февраля 1919 г.

¹⁷⁸ *une clarté latine* – фр., с латинской ясностью.

существования по чисто финансовым причинам многих изданий [ЛУЩИК] и [ГдеОбрРосс].

Бунин, прибывший в Одессу летом 1918 г. в 1919–1920 гг., вплоть до своего отъезда за рубеж, совместно с академиком Н.П. Кондаковым редактировал одесскую газету «Южное слово», где, в частности, работали такие журналисты, как М.И. Ганфман, М.С. Мильруд, которые впоследствии создали знаменитую рижскую газету «Сегодня», а так же известный российский публицист Петр Пильский, впоследствии то же «сегоднявец». К слову сказать, в «Сегодня» – второй по значимости газете русского зарубежья, Алданов и Бунин были одними из наиболее привечаемых авторов, – см. [АБЫЗОВ и др.].

В городе появились новые издательства. «Русское книгоиздательство в Одессе» (под рук. и ред. А. А. Кипена), возникшее осенью 1918 г., выпускало в дешевых, но опрятных и тщательно подготовленных книжечках произведения Бунина, Юшкевича, Кипена, Нилуса. Издательство «Русская культура», возникшее той же осенью, нацелено было на публикацию русской классики. Оно возродилось в 1919 г. и издавало газеты, выпустило несколько книг, в том числе И. Наживина, а в 1920 г. переехало в Константинополь. С 1918 г. функционировало издательство «Гнозис», где в числе прочих книг вышли и знаменитые «Элементы средневековой культуры» П. Бицилли. Наиболее интересным и деятельным было книгоиздательство «Омфалос», печатавшее художественную литературу, – см. [ТОЛСТАЯ Е.].

Активно функционировали в революционной Одессе «Литературно-Артистическое Общество», в просторечии «Литера-турка»,¹⁷⁹ и «Общество независимых художников». Их члены очень часто принимали участие в совместных выступлениях. Вот, например, один анонс от декабря 1917 г.:

«Общество “независимых” художников, желая ознакомить публику с новейшими достижениями в искусстве, кроме лекций устраивает на выставке ряд художественных “утренников”, посвященных поэзии и музыке («Одесский листок». 1917. 17 дек. С. 6.); Сегодня в 1 час дня на выставке состоится “поэтический утренник”. Молодые поэты будут читать свои новые произведения. Участвуют А. Биск, А. Горностаев, Б. Бобович, В. Катаев, А. Соколовский, А. Фиолетов» (Выставка независимых художников // «Одесские новости». 1917. 17 дек. С. 3) [ШИНДЛИН].

Не архангельские трубы, —
Деревянные фаготы
Пели мне о жизни грубой,
О печали и заботах.
Не скорбя и не ликуя,
Ожидаю смерти милой,
Золотого «аллилуйя»
Над высокою могилой.
И уже, как прошлым летом,
Не пишу и не читаю,
Озаренный тихим светом,
Дни прозрачные считаю.
Мне не больно. Неужели
Я метнусь в благой дремоте?

¹⁷⁹ В числе его основателей был знаменитый журналист В. М. Дорошевич, художники П. А. Нилус и Е. И. Буковецкий и др. Активное участие в жизни общества принимали Иван Бунин и Александр Куприн. В конце 1918 г. внутри «Литературки» выделилась группа «Среда», куда вошел узкий круг преимущественно профессиональных литераторов.

Все забыл. Над всем пропели
Деревянные фаготы¹⁸⁰.

Жизнь литературно-художественного сообщества шла своим чередом и, казалось, несколько не зависела от событий, разворачивавшихся на одесских улицах. Так, например, в разгар «одесской эвакуации» войск Антанты (начало апреля 1919 г.),

назначен был очередной вечер устной газеты, которая <...> оказалась наиболее успешной зрелищной затеей из тех, в которых участвовали столичные гости: «Группа столичных литераторов устраивает 13 апреля вечер устной сатирической газеты под названием “Ничего подобного” в Русском Театре.

От литературного отдела выступают – Тэффи, Ал. Толстой, Лоло, Максимилиан Волошин, Вера Инбер, Дон Аминадо, Вас. Регинин и др.» [ТОЛСТАЯ Е.].

В тот короткий исторический период Одессе суждено было сыграть роль первой (до Парижа и до Берлина) столицы русской диаспоры <...>. Одесса столкнула всех со всеми, перемешала города, акценты и стили, эпохи и поколения, и что важнее всего – смешала иерархии, здесь всё сравнивалось со всем, всё подвергалось переоценке. Это был тот котёл, в котором выплавлялась новая русская литература, театр и кино.

Здесь укрупнялся человеческий масштаб: после Одессы Бунин становится великим писателем; <Алексей> Толстой подготовил здесь свой первый крупный роман; <...>. В Одессе происходит первое слушание и канонизация революционных стихов Волошина. После революционного «карнавала» в Одессе – этой лучшей литературной академии – заявляют о себе всерьёз молодые писатели Южно-русской школы¹⁸¹.

<Другой пример – литературный кружок> «Среда», в нём, используя присутствие Толстого как повод или рычаг, молодая (но не самая юная) литературная элита Одессы утверждает новый для своего города, но уже победивший в Петербурге взгляд на литературу как на искусство со своими особыми законами, – свободное от политической злобы дня и нравоучительной тенденции. «Среда», в которой воцаряется вольный дух и неформальный обмен мнениями, становится важнейшим литературным учреждением. Остроумная идея сделать кружок закрытым и ограничить вход заставляет «всю Одессу» ломиться на эти подпольные литературные встречи в подвале Литературно-Артистического Общества [ТОЛСТАЯ Е.].

Александр Биск писал, что

кружок «Среда», просуществовавший примерно с конца 1917 года до самой смерти Литературки, последовавшей в январе 1920 г., – и с перерывами в ½ и 4 месяца – время первых и вторых большевиков. Наши лозунги были: уйти в подполье, спастись от адвокатского красноречия, которым были полны Общие Собрания Литературки. <...> Председателя в «Среде» не было, мы учредили Исполнительное бюро из четырех лиц: Ната Инбера, Габриэля Гершенкройна, меня и Алексея Толстого. Я упоминаю Толстого на последнем месте, ибо его участие было чисто номинальное, вся работа лежала на нас троих. Наше трио составило список будущих членов «Среды». Фильтровка была, в смысле строгости, совершенно фантастическая. <...> Достаточно сказать, что количество членов «Среды» никогда не превышало

¹⁸⁰ Стихотворения Анатолия Фиолетова (наст. Натан Шор, 1897–1918).

¹⁸¹ Имеются в виду Бабель, Багрицкий, Катаев, Киппен, Олеша, Паустовский и др. советские писатели, начинавшие свою литературную деятельность в Одессе.

сорока. Каждый член «Среды» имел право ввести на собрание не более двух гостей. Это соблюдалось с необычайной строгостью, поэтому собрание никак не могло насчитывать более 120 человек [БИСК (I). С. 125, 126].

Ярчайшим событием в деятельности клуба стал вечер 19 февраля 1919 года, когда, по воспоминаниям Биска,

Максимилиан Волошин впервые читал свои замечательные стихи «Святая Русь» и другие. Это был подлинный героический пафос. Стихи эти были ни за революцию, ни против нее, но они вскрывали чисто русский дух событий. Как в «Двенадцати» Блока, и сильнее, чем в блоковской поэме, здесь передан весь сумбур русского бунта, в котором главным ядром являются не события, а личность, не дело, а мечты, наш град Китеж, наш «неосуществимый сон». Я называл Волошина поэтом Сенатской площади, потому что, на мой взгляд, от февраля до октября вся Россия представляла собой гигантскую Сенатскую площадь, на которой мы, подобно нашим предкам, беспомощно толпились, не зная, что нам делать. О Волошине стоит говорить, потому что ему не повезло в русской литературе. Имя его недостаточно известно широкой публике. А ведь он был первым парижанином нашей эпохи, по его стихам мы научились любить Париж. <Кто не почувствует всего аромата Парижа только по этим двум строчкам:

В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза> [БИСК (II)].

Эти мемуарные тона абсолютно созвучны словам хроникера-современника о том, что

Волошин читал на собрании «Среды» свои политические и лирические стихи. Произведения его, посвященные войне и революции, резко отличаются от рассудочных рифмований большинства современных поэтов, выступивших на этом поприще. По глубине, мощи и чувству любви к России и вровень им – только последние поэмы Блока... <...> Чтение Максимилиана Волошина неоднократно прерывалось восторженными овациями аудитории.

Гр. Ал. Н. Толстой и Л. П. Гроссман указали на громадное значение новых произведений М. Волошина; былая индивидуальная его поэзия превратилась во всероссийскую или всемирную [ШИНДЛИН].

С осени 1917 г. в здании консерватории, в кафе Либмана и в университетской аудитории юридического факультета Одесского университета проходили собрания литературного объединения «Зеленая лампа».

Старые афиши, газетные объявления, воспоминания современников позволяют считать «Зеленую лампу» самым представительным литературным объединением Одессы конца 1910 – начала 1920-х годов: Эдуард Багрицкий, Александр Биск, братья Борис и Исидор Бобовичи, Анатолий Гамма, Владимир Дитрихштейн, братья Георгий и Вадим Долиновы, Валентин Катаев, Иван Мунц, Леонид Нежданов, Эмилия Немировская, Юрий Олеша, Софья Соколова, Анатолий Фиолетов, Зинаида Шишова... Список этот далеко не полный. Позже в кружок вошли – чем особенно гордились «зеленоламповцы» – Алексей Толстой и его супруга – поэтесса Наталья Крандиевская¹⁸²

¹⁸² См. также о них в «Где обрывается Россия...» Художественно-документальное повествование о событиях в Одессе в 1918–1920 гг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.